

A221
5/3

Т. 5
112

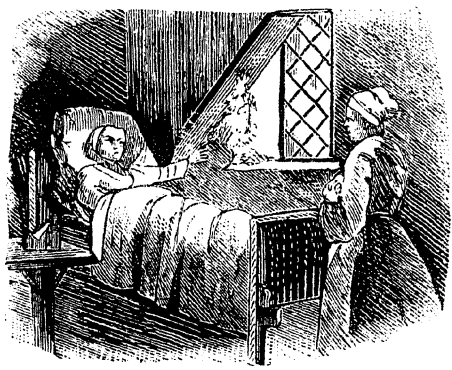
СОБРАНИЕ СКАЗОКЪ

АНДЕРСЕНА.

КНИЖКА 4-я.

ПЕРЕВОДЪ

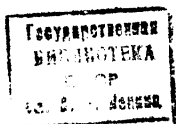
Марка Вовчка.



СЪ РИСУНКАМИ.



Издание Т-ва И. Д. СЫТИНА.



2010515528



Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Лятницкал улица, свой домъ.
Москва.—1909.

СКАЗКИ АНДЕРСЕНА.



КНИЖКА ЧЕТВЕРТАЯ.



Андерсенъ.



Дѣвочка Инге.



Исторія про дѣвочку, которая наступила на хлѣбъ, чтобъ не запачкать себѣ башмачки, и про то, какъ плохо потомъ пришлось этой дѣвочкѣ—исторія извѣстная.

Исторія эта не только написана, но даже напечатана. Эту дѣвочку звали Инге. Она была бѣдная-пребѣдная, но прегордая и превысокомѣрная,—она была, что называется, зелье.

Когда она была еще крошкой, она ужъ и тогда все, бывало, ловить мухъ и рветъ у нихъ крылья, чтобы онѣ потомъ «поползали».

А стала она старше, такъ возьметъ, бывало, майскаго и навознаго жука, насадить каждого на иголку и подсунетъ имъ подъ ножки зеленый листикъ или клочокъ бумажки, и бѣдное животное уцѣпится за это, и крѣпко

держитъ, вертитъ, и перевертываетъ, чтобы освободиться отъ иголки, а она глядитъ да посмѣивается.

— Вотъ теперъ жукъ читаетъ,—говорить: — глядите-ка, какъ онъ листъ перевертываетъ!

Съ лѣтами Инге становилась все хуже, а не лучше.

Она была очень хорошенькая собою, и въ этомъ была большая бѣда: не уродись она такой хорошенькой, съ ней бы обращались иначе.

— Надо бы тебя хорошенько пробрать!—говорила ей мать.—Ребенкомъ ты топала ногами у меня по фартуку, а со временемъ, пожалуй, ты затопчешь у меня и по сердцу!

Такъ оно и вышло.

Инге поступила служить въ одно знатное семейство въ деревнѣ; въ этомъ семействѣ обращались съ ней очень хорошо и наряжали ее.

Она была такая хорошенькая!

И вотъ высокомѣрія у нея еще прибавилось.

Когда она прожила тамъ около года, ей сказали:

— Ты бы, Инге, сходила провѣдала родителей.

Инге и отправилась, но только для того, чтобы показать себя на родинѣ: пусть, дескать, всѣ видятъ, какая я стала важная.

Подходить она къ своей деревнѣ и видить, что стоятъ молодые парни и дѣвушки и болтаютъ между собой, а тутъ возлѣ нихъ сидитъ на камнѣ ея мать, положила передъ собой вязанку хвороста, что набрала въ лѣсу, и отдыхаетъ.

Увидала это Инге и воротилась назадъ.

Ей стало стыдно, что вотъ она такъ мило одѣта, такая щеголиха, а мать у нея простая женщина въ лохмотьяхъ и ходитъ собирать хворостъ по лѣсу.

Ей ни чуточки не совѣстно было воротиться назадъ,

не повидавшись съ матерью, ей только было досадно— вотъ и все. Прошло еще полгода.

— Что бы тебѣ сходить на родину, провѣдать родителей, Инге,—сказала ей госпожа.—Я дамъ тебѣ большой бѣлый хлѣбъ, и ты снесешь его имъ въ гостинецъ. Они, вѣрно, очень тебѣ обрадуются.

Инге разрядилась впухъ и прахъ, обула новыя башмачки и, приподнявъ этакъ пальчиками платице, пошла, озираясь по сторонамъ, чтобъ не запачкать себѣ ноги.

За это еще нечего винить ее, но вотъ она доходитъ до того мѣста, гдѣ начинается тропинка черезъ болото, черезъ грязь и черезъ трясицу, бросаетъ хлѣбъ въ грязь и наступаетъ на него, чтобъ не запачкать себѣ башмачковъ.

Но только что она наступила одной ногой на хлѣбъ, а другую подняла вверхъ, чтобъ шагнуть, хлѣбъ вдругъ началъ опускаться все глубже, глубже, глубже...

Исчезла Инге, и на томъ мѣстѣ, гдѣ она провалилась, осталась только трясица, изъ которой подымались пузыри.

Что же это такое случилось?

Вотъ что случилось.

Прежде всего—куда попала Инге?

Она провалилась на дно болота и очутилась у болотной вѣдьмы, которая, какъ всѣмъ извѣстно, варить тамъ пиво.

Болотная вѣдьма—тетка дѣвушекъ-эльфовъ.

Этихъ эльфовъ всякій знаетъ, про нихъ сложены и поются пѣсни, ихъ рисуютъ на картинахъ,—но про болотную вѣдьму знаютъ только то, что, когда лѣтомъ дымятся луга, такъ это, значитъ, болотная вѣдьма заваривала пиво.

Вотъ сюда-то, въ пивоварню-то болотной вѣдьмы и провалилась Инге, — а тутъ вѣдь не долго выдержать.

Ящики съ грязью просто свѣтлые дворцы въ сравненіи съ этой вѣдьмовской пивоварней. Отъ каждой посуды разить такую воню, что съ человѣкомъ тотчасъ же дѣлается дурно. Прибавьте вы къ этому еще то, что всѣ сосуды плотно сдвинуты вмѣстѣ, а если и случится между ними какое отверстіе, сквозь которое можно протѣсниться, такъ все-таки этого нельзя сдѣлать, потому что такая гибель мокрыхъ жабъ и жирныхъ змѣй,—онѣ такъ и кипать.

Вообразите же, каково было Инге попасть сюда! Всѣ эти отвратительные живые гады были холодные какъ ледь.

Ее подралъ морозъ по кожѣ, и она начала цѣпенѣть.

Она крѣпко прильнула къ хлѣбу, а хлѣбъ тянулъ ее все внизъ, такъ точно, какъ янтарная пуговка тянетъ за собой соломинку.

Болотная вѣдьма была дома, и къ ней въ тотъ день пожаловали гости, чортъ и его бабушка.

Гости осматривали пивоварню. Чортова бабушка, ядовитая этакая старушка, ни на минуту никогда не бываетъ безъ рукодѣля. Она и въ гостяхъ даже съ нимъ не разставалась.

Она сшивала лоскутки кожи для людской обуви, отчего люди вездѣ и суются съ своимъ умнымъ носомъ и отчего они ни на секунду ни на чемъ не усидятъ; она тоже ткала большущія ткани изъ лжи и вязала крючкомъ всѣ безразсудныя слова, какія упали на землю.

И все это на вредъ и на погибель людямъ.

Да, мастерица была шить, ткать и вязать чортова бабушка, почтенная старушка.

Увидала она Инге, приставила къ глазу стеклышко отъ очковъ и еще разъ осмотрѣла внимательно дѣвушку.

— Эта дѣвочка съ большими способностями,—сказала она:—сдѣлайте одолженіе, уступите эту малютку мнѣ, на память моего сегодняшняго визита. Изъ нея выйдетъ очень недурная тумбочка для передней моего внука.

Вѣдьма уступила ей Инге.

Такимъ-то манеромъ попала она въ адъ.

Туда люди попадаютъ вѣдь не всегда прямымъ путемъ. Иной разъ, когда у кого есть особья способности, случается и окольными путями попасть.

Чортова бабушка привела Инге въ переднюю къ внуку.

У этой передней не было конца. Посмотришь впередъ — голова закружится, посмотришь назадъ—тоже закружится.

Тутъ стояла цѣлая толпа, которая жадно ждала, когда же отворятся двери милосердія.

Долго имъ ждать!

Большущіе, жирные пауки, переваливаясь съ боку на бокъ, ткали около ихъ ногъ тысячелѣтную паутину, а паутина эта вѣзалась, какъ канатъ, и сковывала, какъ мѣдныя цѣпи.

А потомъ еще, кромѣ того, въ каждой душѣ кипѣла вѣчная тревога, вѣчная мука.

Тутъ стоялъ слѣпой, который забылъ ключъ отъ своей шкатулки, а ключъ-то, онъ зналъ, остался въ замкѣ.

Но слишкомъ долго было бы перечислять всѣ роды пытокъ и мукъ, которыя здѣсь чувствовались.

Инге испытывала страшную муку, стоя въ видѣ тумбочки. Ее точно припаяли къ хлѣбу.

— Вот что бываетъ, когда хочешь сберечь обувь въ опрятности!—говорила Инге про себя. — Какъ они выпучили на меня глазища!

Дѣйствительно, всѣ взоры были устремлены на нее; ея злыя желанія свѣтились у всѣхъ изъ глазъ, безъ одинаго звука слышались изъ всѣхъ усть.

Просто страшно было глядѣть!

«Впрочемъ, на меня смотрѣть, должно-быть, очень пріятно, — думала Инге: — я такая хорошенькая и у меня такое нарядное, красивое платьице!»

Она начала повертывать глазами, — голову она повертывать не могла, голова у ней не двигалась.

О, какъ она выпачкалась въ пивоварнѣ у болотной вѣдьмы!

Нельзя и вообразить, что теперь случилось съ ея щегольскимъ нарядомъ и съ нею самою!

Платице было вымазано какой-то слизью; змѣя крѣпко вцѣпилась ей въ волосы и болталась у нея на спинѣ, а изъ каждой складки матеріи выглядывало по большой жабѣ, которая лаяла какъ охрипшая моська.

Это было очень-очень непріятно.

«Да и другіе-то здѣсь тоже неказисты!» подумала Инге.

И этимъ она нѣсколько себя утѣшила.

Но хуже всего, всего мучительнѣй былъ страшный голодъ, который началъ ее терзать.

Неужто нельзя ей какъ-нибудь нагнуться, чтобы отломить кусочекъ того хлѣба, на которомъ она стояла?

Нѣтъ! спина у нея не гнулась, руки и ноги окостенѣли, и вся она превратилась въ каменную статую. Она могла только двигать глазами и ворочать ими во всѣ стороны, такъ что могла смотрѣть ими даже немножко и назадъ.

Что это былъ за противный видъ кругомъ!

А тутъ еще откуда ни возьмись—мухи начали ползать у нея по глазамъ.

Напрасно она пробовала мигать,—мухи не улетали, потому что крылья у нихъ были поосторваны, и онѣ превратились въ ползуновъ.

Вотъ была мука, такъ мука!

А тутъ еще страшный голодъ терзаетъ.

Наконецъ ей стало казаться, что ея внутренности сами себя пожираютъ, и что она дѣлается внутри пустая, совсѣмъ пустая.

— Если еще такъ продолжится, я не выдержу! — сказала она.

Но она должна была выдерживать.

Вдругъ ей на голову упала горячая слеза, скатилась на грудь, а потомъ на хлѣбъ, на которомъ она стояла; потомъ упала еще слеза и еще и еще, — упало много слезъ. Кто же это плачетъ объ Инге?

Кто? Да вѣдь у нея осталась мать на землѣ.

Горькія слезы, какими плачетъ мать по своему дитяти, всегда, говорятъ, доходятъ до него; только они не помогаютъ ему, а жгутъ и увеличиваютъ муку.

А тутъ еще этотъ нестерпимый голодъ и этотъ хлѣбъ, котораго никакъ не достанешь, а сама какъ разъ стоишь на немъ ногами.

Инге чувствовала, какъ будто бы все, что только у нея было внутри, съѣло само себя, и она стала точно тонкій пустой тростникъ, который всасываетъ въ себя каждый звукъ; она отчетливо и ясно слышала все, что говорилось о ней на землѣ и все, что тамъ ни говорилось, было такъ жестоко, такъ злобно!

Хотя ея мать плакала и горевала по ней, но и мать тоже говорила:

— Чванство до добра не доводитъ! Кто карабкается другимъ на головы, тотъ рано или поздно падаетъ, Ахъ, Инге, Инге! жестоко ты меня сокрушила!

Тамъ, на землѣ, и ея мать и всѣ знали, какой она сотворила грѣхъ,—знали, что она наступила на хлѣбъ, что она провалилась въ болото и исчезла.

Пастухъ видѣлъ это съ косогора.

— О, какъ ты жестоко сокрушила мать, Инге!—плакала мать.—Да, я это давно предчувствовала!

«Лучше бы мнѣ не родиться на свѣтъ! — думала Инге.—Мнѣ было бы гораздо лучше. Какая мнѣ теперь польза отъ того, что мать плачетъ?»

Инге слышала, какъ ея бывшіе господа, которые ухаживали за нею, какъ за родной дочерью, теперь говорили:

— Эта дѣвочка—великая грѣшница, она пренебрегла Божіимъ даромъ и наступила на него ногами, не скоро, не скоро отворятся для нея двери милосердія!

«Чего жъ они не наказывали меня прежде, — думала Инге: — надо было бы прежде выгонять изъ меня злой корень, коли онъ во мнѣ былъ».

Она слышала, что сложена цѣлая пѣсня про тщеславную дѣвочку, которая наступила на хлѣбъ, чтобъ не запачкать башмачковъ, и слышала, какъ эту пѣсню пѣли вездѣ, вездѣ, по всей ихъ землѣ.

— И все это надо слушать, — говорила Инге, — и терпѣть такую муку! Коли меня, такъ и другихъ надо наказывать. Кабы всѣхъ наказывали, такъ тутъ много бы ихъ собралось. Ахъ, что за мученье!

И сердце ея становилось еще жестче ея лица.

— Да, здѣсь въ такомъ обществѣ исправишься, признаюсь! Я и исправляться-то не хочу! Вишь, какъ она тарацитъ на меня глазища!

И сердце ея наполнялось гнѣвомъ и злобой на всѣхъ людей.

— Ну, теперь имъ тамъ, на землѣ, есть о чемъ по-толковать! Ахъ, какое мученье!

Она слышала, какъ ея исторію рассказывали дѣтямъ, и какъ малытки называли ее «безбожной Инге».

— Какая гадкая, — говорили они. — Какая отвратительная! Пусть ее мучится—по дѣломъ!

Но разъ, когда горе и голодъ грызли ее внутри и кто-то называлъ ее по имени и рассказывалъ ея исторію маленькой дѣвочкѣ, она вдругъ услышала, какъ крошка зарыдала при рассказѣ объ этой всѣмъ ненавистой Инге, которая такъ любила наряжаться.

— Неужто бѣдная Инге никогда не воротится наверхъ?—спросила маленькая дѣвочка.

И ей отвѣчали:

— Она никогда не воротится.

— А если она станетъ просить прощенья и ужъ никогда такъ не будетъ дѣлать?

— Въ такомъ случаѣ, можетъ и воротится, но она не хочетъ просить прощенія.

— Ахъ, какъ бы мнѣ хотѣлось, чтобы она попросила! — вскрикнула крошка.—Какъ бы мнѣ хотѣлось!

И она не могла утѣшиться.

— Я отдамъ свою куклу и всѣ свои игрушки, если только ей позволять воротиться. Это такъ страшно! Бѣдная Инге!

Эти слова пронизали Инге, и отъ нихъ ей какъ будто полегчало.

Въ первый разъ кто-то сказалъ: «бѣдная Инге!» и ничего не прибавилъ про ея грѣховность и пороки. Маленькая дѣвочка просто плакала и просила и за нее прощенья.

Что-то странное совершилось съ Инге. Ей самой теперь захотѣлось плакать, но она не могла.

Да, она не могла плакать, и это тоже была мука.

Пока проходили годы тамъ, наверху,—подъ землей въ преисподней, гдѣ она теперь была, переменъ не бываетъ—она все рѣже и рѣже слышала рѣчи сверху,—о ней говорили все меньше.

Вдругъ однажды до слуха долетѣлъ вздохъ.

— Инге! Инге! ты жестоко сокрушила меня! Я всегда это предвидѣла!

То былъ послѣдній вздохъ ея умирающей матери.

Порой она слышала еще, какъ бывшіе господа упоминали ея имя. Иногда ея бывшая госпожа говорила:

— Увижу ли я когда-нибудь Инге? Кто можетъ сказать напередъ, куда мы попадемъ?

Но Инге-то очень хорошо понимала, что ея госпожа никогда не попадетъ туда, гдѣ была она.

Такъ прошло еще много-много времени, — долгаго, тяжелаго, мучительнаго времени.

Наконецъ Инге еще разъ услышала свое имя и увидѣла, что надъ нею словно блеснули двѣ звѣздочки: то были кроткія очи, закрывшіяся на землѣ.

Съ той поры, какъ маленькая дѣвочка заливалась слезами, оплакивая «обѣдную Инге» и обѣщая всѣ свои игрушки, если Инге позволятъ воротиться на землю, прошло столько лѣтъ, что дитя превратилось въ старую женщину, для которой теперь наступилъ конецъ.

И вотъ въ тотъ самый часъ, когда снова всплываютъ всѣ мысли, всѣ ощущенія изъ всего прошлаго, прожитаго времени, она вспомнила и то, какъ она горько плакала когда-то крошкою, слушая исторію Инге.

То прошлое время и тѣ чувства такъ живо представились уму старушки, что она громко произнесла:

— Господи Боже мой! ужъ не попираю ли и я, какъ Инге, твои благословенные дары? Не поддавалась ли я духу гордости? Отпусти мои прегрѣшенья! Не помяни мнѣ ихъ!

Глаза старушки закрылись, а духовныя очи растворились и стали видѣть все до того для нихъ сокрытое.

У нея послѣдней мыслью была Инге, и она увидала теперь, какъ глубоко пала Инге, и опять, какъ въ дни дѣтства, заплакала.

Эти слезы и молитвы о помилованіи раздавались точно эхо подъ пустой оболочкой, которая окружала скованную, терзающуюся душу Инге.

Любовь побѣдила ее.

За что эта любовь была ей дарована?

Ея измученная душа собрала всѣ свои земныя дѣла,—что это за дѣла?

Инге задрожала и заплакала такъ, какъ никогда еще не плакала. Ее охватила скорбь о себѣ, ей показалось, что передъ ней ужъ никогда не отворятся двери милосердія.

Въ ту самую минуту, когда она съ сокрушеніемъ сознавала это, въ бездну къ ней сверкнулъ сіяющій лучъ, и сверкнулъ съ такой силой, которая далеко превосходила силу солнечнаго луча, отъ котораго таетъ снѣжный болванъ, поставленный ребятишками, съ такою скоростью, съ какой таетъ снѣжинка, упавшая на горячія губы ребенка.

Тутъ окаменѣлый образъ Инге распустился туманомъ, а изъ этого тумана маленькая птичка взвилась молніей вверхъ и полетѣла въ человѣческой міръ.

Но птичка эта пугалась и трепетала всего ее окружающаго. Она стыдилась всякаго живого существа и старалась поскорѣе притаптыся въ темной дырочкѣ,

въ старой полуобрушившейся стѣнѣ, и сидѣла тамъ, вся съезжившись, дрожа и не будучи въ состояніи издать ни единого звука: у ней не было голоса.

Долго птичка просидѣла такимъ образомъ, прежде чѣмъ стала ясно видѣть и понимать все окружавшее ее великолѣпіе.

Да, тутъ было великолѣпно. Въ воздухѣ и свѣжо и тихо, мѣсяцъ обливаешь бѣлымъ сіяніемъ землю, деревья и кустарники благоухаютъ.

Уютно было тамъ, гдѣ она сидѣла, и ея платице изъ перышекъ было такое чистенькое, такое нѣжное.

О, какъ же все облито любовью и прелестью!

Все, что трепетало въ груди птички, стремилось излиться въ пѣснѣ.

Но птичка не могла запѣть.

А какъ ей хотѣлось этого! Какъ бы она залилась пѣсней! Цѣлыя недѣли безгласная пѣсня не умолкала въ умѣ птички.

Пѣсня должна была найти себѣ выходъ при первомъ взмахѣ крылышка на доброе дѣло.

Наступилъ праздникъ Рождества.

Крестьянинъ вбилъ въ землю, недалеко отъ стѣны, шесть и прикрѣпилъ къ этому шести снопъ овса для того, чтобы и птички тоже повеселились и попиروвали въ то время, когда у него былъ хорошій обѣдъ.

И вотъ взошло солнце и освѣтило снопъ, и птицы, съ чириканьемъ и щебетаньемъ, окружили шесть съ лакомымъ обѣдомъ.

Въ это время и изъ маленькой дырочки въ стѣнѣ тоже послышалось:

— Пипъ! пипъ!

Волнующіяся мысли, безгласная пѣсня превратились въ звуки, въ тихое щебетанье.

Проснулась мысль о добромъ дѣлѣ, и птичка выпорхнула изъ своего темнаго убѣжища.

Зима стояла суровая, студеная; всѣ рѣки замерзли, птицы и звѣри съ трудомъ находили себѣ кормъ.

Птичка носилась надъ большой проѣзжей дорогой и въ колеяхъ отъ саней отыскивала себѣ то тамъ, то сямъ зернышко-другое, а на стоянкахъ—хлѣбныя крошки.

Сама птичка почти не притрогивалась къ корму. Она сзывала голодныхъ воробушковъ, чтобы они покормились.

Она влетѣла въ городъ, высматривала по сторонамъ, и тамъ, гдѣ милая рука насыпала на подоконникъ корму бѣднымъ птичкамъ, она съѣдала одну какую-нибудь крошечку, а все остальное оставляла другимъ голоднымъ.

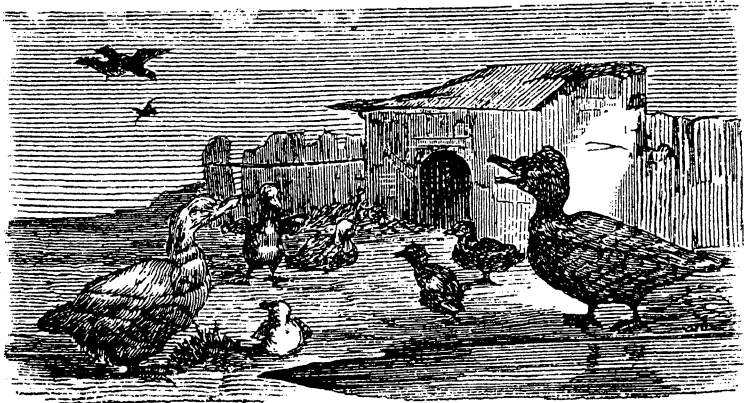
За зиму птичка столько набрала крошекъ и зернышекъ и столько раздала ихъ другимъ птичкамъ, и всѣ онѣ вмѣстѣ вѣсили столько же, сколько тотъ бѣлый хлѣбъ, на который наступила маленькая Инге, чтобъ не запачкать себѣ башмачковъ.

А когда птичка нашла и отдала свою послѣднюю крошку, то ея сѣрыя крылышки превратились въ бѣлыя и широко распустились.

— Вонъ летитъ надъ водой морская ласточка!—говорили дѣти, увидя бѣлую птичку. — Вонъ, вонъ она нырнула въ море! Вотъ взвилась кверху, въ лучи — въ самые лучи яркаго солнечнаго сіянія!

Птичка блестѣла, сверкала, переливалась, — невозможно было уловить, куда она дѣлась.

Говорять, она упорхнула въ самое солнце.



На утиномъ дворѣ.



Прѣехала утка изъ Португаліи, — иные говорили, будто изъ Испаніи, ну, да это все равно, — довольно того, что ее окрестили португалькой.

Она несла яйца, потомъ ее закололи, изжарили и подали на столъ, — вотъ и вся ея жизнь.

Всѣхъ, кто вылунился изъ ея яицъ, тоже потомъ окрестили португальками, а вѣдь это что-нибудь да значить!

Теперь изъ всей португальской семьи уцѣлѣла только одна утка на утиномъ дворѣ.

А на этотъ дворъ были вхожи и куры; пѣтухъ тоже сюда жаловалъ.

— Онъ раздражаетъ меня своимъ ораньемъ! — говорила португалька. — А только красавецъ онъ, нечего сказать! Ужъ такой красавецъ, — даромъ что не селезень. Ему бы слѣдовало себя сдерживать, но вѣдь это ужъ такое искусство, которое показываетъ высшее образованіе и развитіе, а это найдешь только у пѣв-

чихъ птичекъ на липахъ въ сосѣдскомъ саду, по ту сторону двора. Какъ мило онѣ поютъ! Есть что-то до того трогательное въ ихъ щебетаньи! Вотъ что я называю португальскимъ! Будь у меня такая пѣвчая птица — я бы стала ей матерью, во всемъ свѣтломъ значеніи этого слова; я была бы съ нею ласкова, добра, нѣжна—это ужъ у меня въ крови... Въ моей португальской крови...

Она еще не окончила, какъ съ крыши во дворъ стремглавъ слетѣла маленькая птичка.

За птичкой гналась кошка, однако птичка все-таки спаслась, хотя и съ изломаннымъ крыломъ.

Поэтому она и упала на утинный дворъ.

— Ну, это совершенно похоже на кошку, — сказала португалька: — она отъявленная злодѣйка! Я ее давно знаю, — еще съ тѣхъ поръ, какъ у меня были свои дѣтки. И этакая-то вотъ тварь живетъ на свѣтѣ и еще осмѣливается ходить по крышѣ! Не думаю, чтобы такія вещи были возможны въ Португаліи!

И утка-португалька чрезвычайно мило относилась къ раненой птичкѣ, — сожалѣла ее отъ всего сердца.

И другія утки, — не португальскаго происхожденія, а простыя, — тоже сожалѣли.

— Крошечное твореньице! — сказали онѣ, подходя одна за другой къ раненой птичкѣ. — Крошечное твореньице! Мы, конечно, не можемъ пѣть, но внутри у насъ есть что-то такое, — пѣвческій резонансъ, что ли... Ужъ мы это очень чувствуемъ, хоть ничего и не говоримъ объ этомъ.

— А я такъ буду говорить! — сказала португалька. — Я буду говорить и хочу что-нибудь сдѣлать для малютки, — это предписываетъ нравственный долгъ.

И она влѣзла въ корыто съ водой и такъ принялась

трепать крыльями по водѣ, что птичка отъ этой ванны чуть не утонула.

Но намѣреніе было вѣдь хорошее.

— Это доброе дѣло!—говорила португалька.—Другіе прочіе могутъ брать съ этого примѣръ!

— Пипъ!—пропищала птичка.

Одно крылышко у нея, какъ извѣстно, было сломано, и ей очень трудно было шевелиться.

Но она очень хорошо поняла, что ванна была сдѣлана съ добрымъ намѣреніемъ.

— Вы очень добры, сударыня,—сказала птичка португалькѣ.

Но ей не нужно было другой ванны, хотя бы и съ самымъ благимъ намѣреніемъ, нѣтъ!

— Я никогда не размышляла о своемъ сердцѣ,—сказала португалька,—но я твердо знаю, что люблю всѣхъ своихъ ближнихъ,—только не кошку! Но этого никто не станетъ отъ меня и требовать: кошка съѣла двухъ моихъ дѣтей. Однако вы будьте какъ у себя дома—пожалуйста, безъ всякой церемоніи. Я сама здѣсь иностранка, вы это можете видѣть и по моимъ манерамъ и по моимъ перьямъ. А селезень мой, напротивъ того, здѣшній уроженецъ, не моей вовсе породы. Но я не высокомѣрна и не важничаю. Если здѣсь во дворѣ кто-нибудь можетъ васъ понять, такъ это, смѣю сказать, я!

— У меня портулакія въ брюшкѣ!—сказала маленькая обыкновенная утка, чрезвычайно остроумная.

И всѣмъ прочимъ обыкновеннымъ уткамъ ужасно понравилось слово портулакія: выходитъ точно Португалія.

И онѣ всё подталкивали другъ дружку и говорили:

— Раппъ.

Это выходило чрезвычайно остроумно!

И всѣ другія утки стали заниматься маленькой птичкой и высказывать ей свое сочувствіе.

— Конечно, португалька мастерица красноречиво говорить, — говорили онѣ. — Мы такъ не важничаемъ громкими фразами, но наше участіе отъ этого, надѣемся, не меньше! Хотя мы и ничего для васъ такого и не дѣлаемъ, зато мы ходимъ потихоньку кругомъ, — такъ, намъ кажется, всего для васъ лучше.

— У васъ пріятнѣйшій голосокъ! — сказала одна утка, изъ старшихъ. — Какъ пріятно должно быть сознание, что можешь столь многимъ доставить эстетическое удовольствіе, какъ вотъ всѣ вы, пѣвчія птички, можете это дѣлать! Конечно, я не особенно много смыслю въ вашемъ пѣніи, поэтому-то и держу языкъ въ клювъ, а все лучше поступать такъ, чѣмъ наболтать вамъ кучу какихъ-нибудь глупостей, какъ это дѣлаютъ очень многія.

— Не мучь ее, — сказала португалька: — ей необходимо ухаживать и покой, а ты жужжишь въ уши... Хотите, моя милая пѣвунья, я опять вамъ сдѣлаю ванну?

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Позвольте мнѣ оставаться сухой! — умоляющимъ голосомъ щебетала птичка.

— Когда я нездорова, мнѣ только и помогаетъ, что водяное лѣченіе, — продолжала португалька. — Развлеченіе, пріятное общество тоже вещь недурная. Вотъ теперь скоро ужъ придутъ съ визитомъ сосѣдскія куры, — между ними есть двѣ китаянки. Онѣ ходятъ въ панталончикахъ, очень образованы и привозныя. Въ моемъ пѣніи они стоятъ поэтому выше всѣхъ остальныхъ.

Пришли куры съ визитомъ. Пришелъ и пѣтухъ.

Пѣтухъ на этотъ разъ отличался самой утонченной вѣжливостью и ни чуть не грубіянилъ.

— Вы настоящая пѣвчая птица! — сказалъ онъ раненой птичкѣ, — и вы дѣлаете изъ своего крошечнаго го-

доска все, что только возможно изъ такого голоса сдѣлать. Но мужчинѣ надо машину-то посильнѣе, чтобы всякій слышалъ, что мужчина поетъ!

Обѣимъ китайкамъ такъ понравилась пѣвчая птичка, что онѣ стояли передъ ней въ нѣмомъ восхищеніи.

Отъ ванны пѣвчую птичку порядочно-таки изъерошило, такъ что китайкамъ она показалась чуть не китайскимъ цыпленкомъ.

— Она просто милашка!—говорили китайки.

Затѣмъ онѣ вступили съ ней въ рѣчи и говорили все шопотомъ и все прибавляли къ каждому слову слогъ «па»—то-есть аристократическимъ китайскимъ языкомъ.

— Мы вѣдь вашего рода, — говорили китайки.— Утки, даже и сама португалька, —птицы водяныя, какъ вы, вѣроятно, и сами замѣтили. Вы насъ, разумѣется, еще не знаете. Мало кто насъ знаетъ, мало кто дастъ себѣ трудъ насъ узнать покороче,—даже ни одна простая курица объ этомъ не заботится, — а вѣдь мы рождены сидѣть на жердочкѣ повыше всѣхъ прочихъ! Но мы не сокрушаемся; мы себѣ спокойно идемъ своей дорогой. Мы, правда, не придерживаемся ни ихъ правилъ ни ихъ обычаевъ, потому, что мы обращаемъ вниманіе только на хорошія стороны и говоримъ только о хорошемъ,—хотя трудненько найти что-нибудь тамъ, гдѣ ничего нѣтъ. Кромѣ насъ двоихъ да еще пѣтуха, на всемъ птичьемъ дворѣ вы не найдете никого, кто бы былъ талантливъ и вмѣстѣ съ тѣмъ честенъ. Къ сожалѣнію, этого нельзя сказать даже и про жителей утиного двора.

Мы васъ предостерегаемъ, любезная пѣвчая птичка! Не довѣряйтесь вы вонъ той, короткохвостой: она прековарная! Вонъ, та цеструха, — вонъ, видите, съ кри-

вымъ узоромъ на крыльяхъ,—презадорная! Такая прицѣпа, что Боже упаси! Всѣхъ перекрыкаетъ, а все-таки, разумѣется, неправда. А вонъ та утка, жирная-то, видите? та всякаго злословить.

Это само воплощенное злословіе! Нашему характеру злословіе противно. Коли ужъ нельзя сказать ничего хорошаго, добраго, такъ держи языкъ въ клювъ. Португалька единственная утка, которая хоть сколько-нибудь образована, и съ которой можно водить знакомство, но она ужъ слишкомъ утка страстная и ужъ черезчуръ много толкуетъ про свою Португалию.

— Чего эти двѣ китайянки вѣчно шепчутся?—шептала пара утокъ.—До смерти онѣ намъ надобли! Мы съ ними никогда еще и не разговаривали.

Тутъ пришелъ селезень.

Селезень думалъ, что пѣвчая птичка—воробей.

— Что жъ такое?—говорилъ онъ. — Да я тутъ не вижу разницы. Да это вѣдь все равно. Она вѣдь принадлежитъ къ числу игрушекъ, а есть игрушки, ну, такъ и есть!

— Вы, пожалуйста, не придавайте никакого значенія тому, что онъ говоритъ,—прошептала португалька пѣвчей птичкѣ:—онъ очень почтенный селезень въ дѣлахъ, и дѣла для него важнѣе и выше всего. Однако ужъ и мнѣ пора на покой. Каждый изъ насъ обязанъ позаботиться о томъ, чтобы быть какъ слѣдуетъ жирненькимъ къ тому роковому времени, когда придется балзамироваться яблоками и сливами!

И вотъ португалька легла на солнышкѣ и моргала однимъ глазомъ.

Она лежала очень хорошо, сама была очень хороша и, сверхъ всего этого, спала очень хорошо.

Маленькой пѣвчей птичкѣ пришлось-таки крутенько; она-таки повозилась съ своимъ переломленнымъ крылышкомъ. Наконецъ и пѣвчая птичка улеглась и крѣпко прижалась къ своей покровительницѣ.

Солнце сіяло, было такъ тепло, такъ чудесно! Она нашла себѣ такое славное мѣстечко!

Сосѣдскія куры, напротивъ того, не спали; онѣ бродили туда и сюда и царапали землю.

Собственно говоря, онѣ и съ визитомъ-то затѣмъ только приходили, чтобы позабрать себѣ корму.

Китайнки первыя ушли съ утиного двора.

За китайнками ушли скоро и простыя куры.

Остроумная уточка сказала про португальку:

— Старушка-то наша, кажется, скоро впадетъ со-всѣмъ въ «утиное ребячество»!

Всѣ утки расхохотались такъ, что только по двору загоготало.

— «Утиное ребячество!»—шептались онѣ,—это не въ бровь, а прямо въ глазъ! Это удивительно мѣтко и остроумно! Вотъ сказано, такъ сказано!

И тутъ онѣ вспомнили и принялись повторять первую остроуту остроумной уточки «портулакѣя въ брюшкѣ».

И ужъ это имъ показалось до того забавно, до того мило и удачно, что онѣ захлопали крыльями.

Потомъ онѣ всѣ полегли спать. Только спали онѣ недолго.

На утиный дворъ вдругъ выбросили какой-то кормъ.

Кормъ этотъ такъ шлепнулся оземь, что весь утиный гарнизонъ вскочилъ, какъ ошпаренный, и захлопалъ крыльями.

Португалька тоже проснулась, поспѣшно перевалилась на другую сторону и при этомъ не очень-то деликатно толкнула раненую пѣвчую птичку.

— Пипъ!—сказала пѣвчая птичка.—Вы меня очень больно толкнули, сударыня!

— Да, толкнула! А вы зачѣмъ же лежите у меня подъ бокомъ?—закричала португалька.—Нечего такъ нѣжничать! У меня тоже, надѣюсь, есть нервы, а я еще никогда не кричала: «пипъ!»

— Не гнѣвайтесь!—сказала пѣвчая птичка.— Не гнѣвайтесь! Пипъ нечаянно сорвалось у меня съ носика!

Но португалька ужъ не слушала, а поскорѣе набросилась на кормъ, и плотный обѣдъ совершенно поглотилъ все ея вниманіе.

Наконецъ она пообѣдала и опять легла.

Пѣвчая птичка подошла къ ней и хотѣла забавить ее своимъ пѣніемъ.

Тилилейтъ!
Я сердцемъ твоя,
Пою для тебѣ,
И полечу высоко,—
Высоко, далеко...

— Я желаю отдохнуть послѣ обѣда,—крикнула португалька.—Вы бы должны, кажется, сообразоваться съ здѣшними нравами и обычаями! Я хочу теперь спать!

Такая суровость совершенно ошеломила пѣвчую птичку, потому что намѣреніе у нея было самое милое и хорошее. Госпожа португалька отдохнула и проснулась.

Пѣвчая птичка опять подошла къ ней.

Она принесла зернышко, которое нашла, положила его къ ея ногамъ.

Но такъ какъ госпожа португалька изволила не совсѣмъ хорошо выспаться, то, естественно, была въ скверномъ расположеніи духа.

— Отдайте это какому-нибудь цыпленку! — сказала она.—А главное—не вертитеесь вы у меня подъ лапками.

— За что вы на меня гнѣваетесь?—спросила пѣвчая птичка.—Что я такое сдѣлала.

— Что такое сдѣлала?—повторила португалька.— Это совсѣмъ неделикатное, даже неприличное выраженіе! Позвольте вамъ это замѣтить, — неделикатное!

— Вчера тутъ было солнце, ясно,—сказала пѣвчая птичка,— а сегодня такъ пасмурно, такъ тяжело въ воздухѣ!

— Много вы смыслите въ погодѣ! — прикрикнула португалька.—День еще не кончился, значитъ, рѣшать нельзя! Да не стойте вы передо мной болваномъ!

— Господи! вы теперь смотрите на меня такими же злыми глазами... вы на меня теперь смотрите, какъ тѣ злые глаза, что смотрѣли на меня, когда я упала съ крыши во дворъ!

— Безсовѣстная! Такъ вы это сравниваете меня съ кошкой? Такъ вы меня ставите на одну доску съ хищнымъ, кровожаднымъ животнымъ? Меня, въ которой нѣтъ ни единой капельки фальши! Я взялась за васъ и выучу васъ порядочнымъ манерамъ!

И она тотчасъ же откусила головку пѣвчей птичкѣ, и лежала пѣвчая птичка теперь мертвая.

— Это еще что за новости?—сказала португалька.— Она и этого не могла вынести? Ну, она, конечно, не была создана для этого міра. Я была ей матерью, это я знаю. Да, я была ей матерью, потому что у меня есть сердце.

Въ эту самую минуту сосѣдскій пѣтухъ просунулъ голову сквозь заборъ, на утиный дворъ, и заоралъ, словно паровая машина.

— Богъ мой! вы совсѣмъ меня уморите вашимъ дикимъ ораньемъ!—закричала португалька.—Вы во всемъ

виноваты! Вотъ пѣвчая птичка потеряла голову! Да и я, кажется, скоро потеряю!

— Не великая потеря!—сказалъ пѣтухъ.

— Говорите о ней, прошу васъ, съ почтеніемъ! У нея былъ хорошій тонъ, она премило пѣла и была прекрасно образована. Она была полна любви, она была нѣжна... Да!.. А это также идетъ животнымъ, какъ и тѣмъ, которые величаютъ себя людьми!

Всѣ утки столпились около мертвой пѣвчей птички.

У утокъ сильныя страсти, что бы онѣ ни чувствовали, зависть или состраданіе, онѣ чувствуютъ это сильно.

А такъ какъ тутъ завидовать было нечему, то на сцену появилось самое пламенное состраданье.

Даже обѣ китаянки раскудахтались.

— Такой пѣвчей птички ужъ никогда-никогда у насъ не будетъ!—шептались онѣ.—Она была почти что китаянка!

И при этомъ онѣ такъ плакали, что одно кудахтанье только и было слышно.

Всѣ прочія куры тоже кудахтали.

Но у утокъ глаза были совсѣмъ красные,—краснѣе всѣхъ.

— У насъ есть сердце! — говорили утки. — Ужъ этого-то никто отъ насъ не отниметь!

— Сердце! — повторяла португалька.—Сердце! Да, этого добра здѣсь у васъ почти столько же, какъ и у насъ въ Португаліи.

— А теперь подумаемъ о томъ, что положить въ желудокъ!—сказалъ селезень.—Это будетъ поважнѣе. Желудокъ — главное. Что жъ, если и сломается одна какая-нибудь игрушка? Много есть еще другихъ въ запасѣ!



Ледяница.

I.

Маленькій Руди.



Правимся-ка въ Швейцарію, постранствуемъ-ка по этой чудной горной странѣ, гдѣ зеленые лѣса покрываютъ круглыя, почти отвѣсныя стѣны утесовъ. Взберемъ-ка наверхъ, на слѣпительныя снѣжныя поля и опять спустимся внизъ, въ зеленые бархатные луга, гдѣ съ грохотомъ и шумомъ несутся ручьи и рѣчки,—несутся такъ быстро, словно боятся, что не успѣютъ домчатся до моря и пропасть въ его волнахъ.

Солнце стоитъ надъ глубокой долиной и палить ее. Солнце палить и на снѣговыя массы, такъ что съ годами онѣ сплавляются въ сверкающія ледяныя громады и превращаются въ низвергающіяся лавины или въ беспорядочно нагроможденные глетчеры.

Два такихъ глетчера находятся въ широкой утесистой лощинѣ подъ Шрекгорномъ и Веттергорномъ, близъ городка Гриндельвальда.

Видъ этихъ глетчеровъ удивительный, и потому лѣтомъ сюда стекается множество иностранцевъ со всего свѣта.

Пріѣзжаютъ иностранцы изъ-за высокихъ, покрытыхъ снѣгами горъ, пріѣзжаютъ они и изъ глубокихъ долинъ.

Въ послѣднемъ случаѣ имъ приходится подниматься вверхъ нѣсколько часовъ къ ряду, и пока они взбираются, долина опускается все глубже да глубже; если смотрѣть туда, то кажется, — смотришь съ воздушнаго шара. Около горныхъ вершукъ висятъ тучи, словно толстыя, тяжелыя покрывала, а въ долинѣ, гдѣ мелькаютъ разбросанные коричневые деревянные домики, еще сверкаетъ лучъ солнца, и одно освѣщенное мѣстечко выдается яркозеленымъ, точно прозрачнымъ. Тамъ, внизу, и шумятъ, и кипятъ, и гремятъ воды, а наверху онѣ переливаются, катятся и журчатъ. Какъ посмотришь, такъ точно серебряныя ленты вьются сверху внизъ по утесамъ.

По обѣимъ сторонамъ ведущей въ гору дороги стоятъ бревенчатые домики. При каждомъ домикѣ есть огородъ съ картофелемъ.

Огородъ съ картофелемъ здѣсь вещь необходимая, потому что во всякомъ домикѣ много ртовъ, — однихъ ребятишекъ цѣлая куча, и эти ребятишки ужь знаютъ, что такое значить поѣсть. Едва только покажется от-

куда-нибудь путешественникъ, будь онъ пѣшій, верховой или въ экипажѣ, они тотчасъ же выползаютъ, собираются около него и заводятъ торги. Вся эта дѣтвора занимается торговлею и дешево продаетъ хорошенкiе рѣзные домики,—точно такiе, какiе строятся здѣсь въ горахъ. Идетъ ли дождь, свѣтитъ ли солнце, а ужъ толпа дѣтей съ своимъ товаромъ тутъ какъ тутъ.

Назадъ тому лѣтъ двадцать здѣсь часто стоялъ, только всегда немножко поодаль отъ другихъ дѣтей, маленькiй мальчикъ, у котораго тоже была охота торговать.

Этотъ мальчикъ стоялъ тамъ съ пресерьезнымъ лицомъ и такъ крѣпко держалъ свой ящикъ съ рѣзнымъ товаромъ, какъ будто ему было смертельно жаль съ нимъ расставаться.

Именно эта серьезность и то, что мальчуганъ былъ такой крохотный,—заставляли обращать на него особенное вниманiе.

Иностранцы подзывали его чаще, чѣмъ всѣхъ остальныхъ мальчиковъ, и онъ сбывалъ свой товаръ всѣхъ выгоднѣе и скорѣе.

Въ горахъ, еще повыше, на часъ ходьбы вверхъ, жилъ его дѣдъ.

Дѣдъ-то и вырѣзывалъ хорошенкiе домики. Въ комнатѣ у старика стоялъ большущiй шкапъ, биткомъ набитый всякими рѣзными вещицами: тутъ были и шелкушки для орѣховъ, и ножи, и вилки, и ящички, и шкатулочки съ листиками и прыгающими козочками,—однимъ словомъ, тутъ было, на что порадоваться дѣтскимъ глазкамъ.

Но Руди,—такъ звали мальчика,—не особенно занимали всѣ эти игрушки. Онъ жадно смотрѣлъ на старое ружье, висѣвшее подъ балкою потолка. Дѣдушка

обѣщалъ ему, — со временемъ онъ это ружье получить, но надо напередъ вырасти и окрѣпнуть.

Руди былъ очень малъ, а все же долженъ былъ пасти козъ, и если хорошъ тутъ пастухъ, который можетъ съ своими козами всюду лазить, то таковъ былъ и Руди.

Руди лазилъ даже и повыше козъ. Онъ любилъ высоко-высоко снимать съ деревьевъ птичьи гнѣзда.

Руди былъ очень отваженъ и смѣлъ, но улыбку у него видали только тогда, когда онъ стоялъ у гремящаго водопада или прислушивался къ шуму катящейся внизъ лавины.

Руди никогда не игралъ съ другими дѣтьми; онъ съ ними сходилъ только тогда, когда дѣдъ посылалъ его подъ гору торговать рѣзнымъ товаромъ.

Руди не любилъ торговли; ему гораздо веселѣе было лазить по горамъ или сидѣть съ дѣдушкой да слушать дѣдушкины рассказы про старые годы и про людей на его родинѣ.

Дѣдушка рассказывалъ, что люди эти не жили тамъ испоконъ вѣка, а переселились туда съ дальняго сѣвера, гдѣ живутъ ихъ предки и звались шведами.

Все это очень интересовало Руди.

Не только у дѣдушки, Руди учился и у другихъ кое-чему хорошему, а именно, — у своихъ домочадцевъ изъ звѣриной породы.

При дѣдушкиномъ домѣ была большая собака, которую звали Айолой, и которая прежде принадлежала отцу; у Руди былъ еще и котъ. Вотъ этотъ-то именно котъ и былъ въ большомъ почетѣ у Руди: этотъ котъ научилъ его лазить.

— Полѣземъ-ка со мной на крышу, — говорилъ котъ.

И говорилъ онъ совершенно ясно и понятно, потому что дѣти, когда еще не умѣютъ говорить, очень хорошо

понимаютъ куръ и утокъ, а ужъ языкъ кошкѣ и собацѣ понятенъ имъ, какъ языкъ отца и матери. Что жъ тутъ удивительнаго? Вѣдь даже дѣдушкина палка можетъ иногда ржать и превращаться въ цѣлую лошадь, съ головою, ногами и хвостомъ!

— Полѣземъ со мною на крышу, Руди!

То были почти первыя слова, которыя сказалъ котъ, и которыя Руди понялъ.

— Люди толкуютъ, — говорилъ котъ, — будто можно упасть, но все это чистѣйшій вздоръ, никогда ты не упадешь, если не боишься упасть. Ужъ ты только иди! Поставь одну лапку вотъ этакъ и ощупывай дорогу передними лапками. У тебя вѣдь, должно-быть, есть глаза во лбу и гибкіе члены. Коли попадетса гдѣ-нибудь этакая пропасть, такъ ты только прыгай да держись покрѣпче, этакъ я дѣлаю.

И Руди такъ дѣлалъ.

Оттого-то Руди такъ часто и сидѣлъ у ката на слуховомъ окнѣ или на верхушкахъ деревьевъ.

Сиживалъ Руди и на краю высокихъ утесовъ, куда даже и котъ не могъ забраться.

— Выше, выше!—говорили ему деревья и кусты.— Ты посмотри-ка, какъ мы карабкаемся. Гляди, вишь куда мы забираемся, какъ крѣпко держимся. Мы держимся даже на самомъ, что ни на есть узенькомъ краешкѣ утесовъ!

И Руди взбирался на самыя верхушки горъ; онъ часто взбирался туда даже прежде, чѣмъ попадало солнце и хлебалъ онъ тамъ утренній напитокъ, свѣжій, крѣпительный горный воздухъ, — напитокъ, который умѣетъ готовить только одинъ Господь Богъ, а люди только могутъ читать рецептъ, гдѣ написано: трезвый запахъ горныхъ травъ, мяты и тмина изъ долины.

Солнечные лучи нѣжили щеки Руди, головокруженіе стояло насторожѣ, но не смѣло подойти къ нему близко, а ласточки изъ дѣдушкина дома, гдѣ у нихъ было не меньше семи гнѣздъ, прилетали къ нему наверхъ и пѣли:

— Мы и вы! Вы и мы!

Онѣ приносили поклонны изъ дому, отъ дѣдушки и отъ всѣхъ домашнихъ,—даже отъ обѣихъ курочекъ, съ которыми Руди никогда, впрочемъ, не знался.

Какъ ни малъ былъ Руди, а ужъ онѣ путешествовалъ, и для такого мальчуганчика совершилъ порядочное-таки путешествіе.

Онѣ родился по ту сторону горы, въ Валлійскомъ кантонѣ и оттуда былъ перенесенъ сюда.

Онѣ недавно ходилъ пѣшкомъ посмотрѣть на сосѣдній водопадъ, который мелькалъ въ воздухѣ, точно серебряный флеръ, передъ снѣжною, ослѣпительною Юнгфрау.

Побывалъ онѣ и въ Гриндельвальдѣ у большого глетчера.

Но съ этимъ глетчеромъ была связана печальная исторія: тамъ погибла мать Руди. Дѣдушка говорилъ, что тамъ пропала тоже и дѣтская радость Руди.

Когда мальчику не было году, онѣ больше смѣялся, чѣмъ плакалъ, а съ тѣхъ поръ, какъ онѣ побывалъ въ ледяной пропасти, у него сталъ совсѣмъ другой нравъ.

Дѣдушка рѣдко объ этомъ говорилъ, но уже это разнеслось по всей горѣ.

Рудинъ отецъ былъ почтаремъ; большая собака, которая теперь лежала у дѣдушки въ комнатѣ, всегда ему сопутствовала въ его поѣздкахъ черезъ Симплонъ и по Женевскому озеру.

Въ Ронской долинь, въ Валлійскомъ кантонѣ, жили родственники Руди съ отцовской стороны; дядя его былъ отличный охотникъ на сернь и знаменитый проводникъ по горамъ.

Когда умеръ отецъ, Руди было всего годъ отроду. Рудиной матери очень захотѣлось къ своимъ роднымъ, въ Бернскій Оберландъ; ея отецъ жилъ всего въ нѣсколькихъ часахъ ходьбы отъ Гриндельвальда; онъ вырѣзывалъ разныя вещицы изъ дерева и этимъ добывалъ себѣ пропитаніе.

Въ юнѣ мѣсяцѣ Рудина мать взяла ребенка на руки и пошла на родину черезъ Гемми на Гриндельвальдъ; съ нею пошли два охотника на сернь.

Уже они благополучно сдѣлали большую половину пути, уже перешли гребень горы и добрались до снѣговой равнины, уже они видѣли свою родную долину съ знакомыми бревенчатыми домиками.

Имъ оставалось только еще перейти большой глетчеръ.

Снѣгъ только что выпалъ и скрывалъ пропасть; пропасть, правда, не доходила до того глубокаго дна, гдѣ клокотала вода, но все-таки была глубже человѣческаго роста. Молодая женщина, съ ребенкомъ на рукахъ, вдругъ поскользнулась, провалилась и пропала изъ глазъ; ни крика ни раздалось ни вздоха; слышенъ былъ только плачь ребенка.

Пока охотники добыли въ ближайшемъ домикѣ внизу веревокъ и кольевъ, прошло больше часу.

Послѣ большихъ стараній вытащили изъ ледяной пропасти, повидимому, только два трупа.

Всѣ возможныя средства были употреблены, но удалось только одного ребенка возвратитъ къ жизни,

Такимъ образомъ въ домъ къ дѣдушкѣ попалъ только внучекъ-сирота, тотъ самый мальчикъ, который больше смѣялся, чѣмъ плакалъ.

Но съ тѣхъ поръ, какъ онъ побывалъ въ ледяной пропасти глетчера, смѣхъ у него совсѣмъ пропалъ.

Глетчеръ громоздился зелеными, словно стеклянными глыбами, словно застывшій, бѣшенный, чудовищный водопадъ; внизу, въ глубинѣ, грохочеть и гремитъ стремительный потокъ изъ растаявшаго снѣга и распустившагося льда.

Тамъ, внизу, глубокіе пещеры и гроты, ущелья, долины,—тамъ чудный ледяной дворецъ, гдѣ обитаетъ Ледяница, царица глетчеровъ.

Ледяница, убійственная, давящая Ледяница, наполовину дитя воздуха, наполовину могущественная повелительница водъ.

Поэтому-то она и можетъ подниматься съ быстротой серны на самыя вершины снѣжныхъ горъ, туда, куда самые отчаянные смѣльчаки не идутъ иначе, какъ прорубивъ во льду ступеньки.

Поэтому-то она и можетъ плыть вдоль по стремительному потоку, на тоненькомъ еловомъ сучкѣ и перепрыгивать съ одной ледяной глыбы на другую.

Ей это нипочемъ. Она такъ и летаетъ, обвиваемая своими длинными снѣжнобѣлыми волосами и зеленоголубой одеждой, которая блеститъ, какъ вода, въ глубокихъ швейцарскихъ озерахъ.

— Давить! губить!—говоритъ Ледяница.—У меня похитили прелестнаго мальчика, —мальчика, котораго я цѣловала, но не зацѣловала до смерти! Онъ теперь опять у людей, пасетъ козъ на горѣ, карабкается вверхъ, карабкается все выше, выше, выше,—далеко отъ дру-

гихъ, но не отъ меня! Онъ мой! Я его себѣ добуду! Онъ мой!

И Ледяница повелѣла головокруженію работать за себя, потому что самой ей слишкомъ душно въ лѣсу, гдѣ цвѣтеть мята.

И вотъ головокруженіе принялось лазить внизъ и вверхъ, вверхъ и внизъ.

И вотъ головокруженіе поднялось высоко, а съ нимъ поднялись и его три брата, — у головокруженія вѣдь цѣлая куча братьевъ, и Ледяница выбрала изъ нихъ самаго сильнаго и крѣпкаго.

Эти братья сидятъ на перилахъ лѣстницъ и балконовъ, бѣгаютъ, какъ веши, по краешкамъ скаль и утесовъ, прыгаютъ черезъ мостики и перекладины, входятъ въ воздухъ, какъ пловецъ въ море, и заманиваютъ свою жертву куда-нибудь въ пропасть.

Головокруженіе и Ледяница хватаютъ вдвоемъ людей, какъ полищъ хватаетъ все, что ему близко попадается.

Головокруженіе должно было схватить Руди.

— Да, поди-ка, поймай его!—говорило головокруженіе.—Не могу да и только! Этотъ проклятый котъ научилъ его всѣмъ своимъ штукамъ! Въ этомъ мальчикѣ есть какая-то сила, которая меня отталкиваетъ. Я никакъ не ухитрюсь достать до него, когда онъ виситъ на вѣткѣ надъ пропастью, а ужъ какъ бы мнѣ хотѣлось пощекотать его подъ мышки или подъ подошвы, или толкнуть его такъ, чтобъ онъ полетѣлъ вверхъ ногами!—Я не могу сънимъ сладить!

— Мы сладимъ! Мы ужъ сладимъ!—сказала Ледяница.—Ты или я!—Я! я! я!

— Нѣтъ! нѣтъ!—звучало вокругъ, словно эхо въ горахъ отъ церковнаго благовѣста.

То было пѣніе, сливающийся хоръ добрыхъ, милыхъ духовъ,—дочерей солнечныхъ лучей.

Онѣ каждый вечеръ ложатся въ кружокъ около горныхъ вершинъ и тамъ распускаютъ свои розовыя крылья, и крылья эти пламенѣютъ все ярче и ярче, пока опускается къ западу солнце, и заливаютъ заревомъ высокія Альпы.

Люди называютъ это «альпійскимъ заревомъ».

А когда солнце совершенно уже закатится, дочери солнечныхъ лучей уходятъ въ горныя вершины, въ бѣлый снѣгъ, и дремлютъ тамъ, пока снова не взойдетъ солнце,—съ солнцемъ и онѣ снова появляются.

Дочери солнечныхъ лучей больше всего на свѣтѣ любятъ цвѣты, бабочекъ и людей.

Между людьми онѣ избрали именно Руди.

— Не поймать вамъ его!—говорили дочери солнечныхъ лучей.— Не достанется онъ вамъ.

— Я ловила и побольше его и посильнѣе!—говорила Ледяница.

Тутъ дочери солнечныхъ лучей заплѣли пѣсню про путника, съ котораго вѣтеръ сорвалъ плащъ.

— Вѣтеръ взялъ плащъ, но не человѣка! Вы можете его схватить, но не удержите!

Чудно звучалъ хоръ дочерей солнечныхъ лучей.

И каждое утро солнечные лучи пробирались сквозь единственное крохотное окошечко въ дѣдушкиномъ домикѣ и озаряли тамъ тихаго ребенка.

Дочери солнечныхъ лучей цѣловали этого ребенка, имъ хотѣлось растопить тѣ ледяныя поцѣлуи, которыми поцѣловала его дѣва глетчеровъ, царственная Ледяница, когда онъ лежалъ въ глубокой ледяной безднѣ, на рукахъ мертвой матери.



II.

Путешествіе на новую родину.



уди минуло уже восемь лѣтъ, и его дядя, который по ту сторону горы, въ Ронской долинь, пожелалъ взять мальчика къ себѣ, чтобы мальчикъ кое-чему понаучился.

Дѣдушка самъ понималъ, что это полезно для внука, и потому безпрекословно отпустилъ его.

Сталъ Руди прощаться.

Кромѣ дѣдушки, были еще и другіе, кому хотѣлось сказать словечко на прощанье.

Прежде всего съ старой собакой Айолой.

— Твой отецъ былъ почтарь, а я была почтовая собака,—говорила Айола.—Мы ѣздили черезъ горы туда и сюда, и я знаю всѣхъ собакъ и людей по этимъ дорогамъ.

«Я вообще не болтлива, но теперь, когда намъ приходится разставаться, когда ужъ недолго остается говорить другъ съ дружкой, я покалякаю немножко больше всегдашняго.

«Я тебѣ расскажу одну исторію, съ которой я долго носилась, о которой я долго думала, которую я долго грызла,—и все-таки не поняла.

«Ты ее тоже, вѣроятно, не поймешь, да это не бѣда,— все равно.

«Впрочемъ, столько-то я изъ нея выгрызла, что поняла, какой неравный дѣлежъ устроенъ на бѣломъ свѣтѣ и между собаками и между людьми.

«Не всѣ созданы для того, чтобы лежать у кого-нибудь на колѣнкахъ или локать молочко. Я вотъ къ этому совѣмъ не привыкла.

«Но я видѣла такую нѣженку-собачку; она ѣхала въ почтовой каретѣ и занимала тамъ человѣческое мѣсто. Дама, которая была ея госпожой, или чьей госпожой была она, везла при себѣ рожокъ съ молокомъ и собачку поила изъ этого рожка. Ей давали тоже сахарныя лепешечки, но она только изволила ихъ обнюхивать, а кушать не могла,—ихъ купала сама госпожа.

«Я бѣжала по грязи около экипажа, голодная,—ужь именно, какъ собака, голодная! Я думала и передумывала, я, такъ сказать, грызла свои собственные размышленія.

«Не совѣмъ было тутъ въ порядкѣ, не совѣмъ!

«Да мало ли еще гдѣ и въ чемъ тоже не совѣмъ въ порядкѣ?

«Хотѣлъ бы ты, Руди, вотъ этакъ лежать, на колѣнкахъ и ѣздить въ каретѣ? Желаю тебѣ этого, отъ души желаю.

«Но самъ никто себѣ этого не можетъ устроить. Я, по крайней мѣрѣ, не могла,—не могла ни лаемъ ни воемъ!»

Вотъ какія рѣчи говорила Айола.

Руди обнялъ ее крѣпко и отъ всего сердца поцѣловалъ въ мокрую морду.

Затѣмъ онъ взялъ на руки кота.

Но котъ началъ рваться у него изъ рукъ.

— Ты ужъ самъ теперь оперился, и я не выпущу на тебя когтей! — говорилъ котъ. — Полѣзай черезъ горы, — вѣдь я выучилъ тебя лазить! Помни одно: не думай, что ты можешь упасть, и ты, навѣрно, удержишься вездѣ.

Съ этими словами котъ выпрыгнулъ изъ рукъ, потому что ему не хотѣлось, чтобы Руди замѣтилъ грусть въ его глазахъ.

Куры переважно прохаживались по комнатѣ.

Одна курица была безхвостая. Какой-то путешественникъ, который все лѣзъ въ охотники, принялъ ее за хищную птицу и отстрѣлилъ ей хвостъ.

— Руди хочеть итти за горы! — сказала одна курица.

— Онъ вѣчно суетится и торопится! — сказала другая. — А я не люблю прощаться!

И обѣ онѣ засѣменили прочь.

И съ козами Руди простился.

Онѣ блеяли и гнались за нимъ: «бэ! бэ! бэ!»

И это было очень грустно. Очень-очень грустно.

Два здоровенные проводника, которые шли по своимъ дѣламъ за горы, въ сторону Гемми, взяли Руди съ собой.

Это былъ походець не легкій для такого мальчугана, но Руди былъ прездоровый и нисколько не унывалъ.

Итакъ, они отправились. Ласточки проводили ихъ немножко и, провожая, пѣли:

— Мы и вы! Вы и мы!

Дорога шла черезъ бурный потокъ, который прорывался изъ черной пропасти Гриндельвальдскаго глет-

вчера множествомъ маленькихъ ручейковъ. Въмѣсто мостовъ тутъ просто перекинуты стволы деревьевъ и большіе камни.

Дошли они до Эллернвальда, начали подниматься въ гору, тамъ, гдѣ глетчеръ отдѣляется отъ горной стѣны, и пошли по ледянымъ глыбамъ.

Руди гдѣ проходилъ, а гдѣ и проползаль; глаза у него такъ и прыгали отъ удовольствія, и онъ такъ крѣпко ступаль своими горными сапогами, какъ будто бы требовалось отпечатлѣвать на льду каждый шагъ.

Горный потокъ нанесъ на глетчеръ пласты черной земли, что придавало ему какой-то грязный видъ, но все-таки насквозь просвѣчиваль голубовато-зеленый, точно стеклянный, ледъ; то и дѣло надо было обходить маленькія озера, которыя образовались отъ заперевшихъ воды ледяныхъ глыбъ.

Они пришли къ большому камню, который качался на краю ледяной расщелины; вдругъ камень потеряль равновѣсіе, покотился внизъ, и со дна глубокихъ пустыхъ пропастей поднялось перекатное эхо.

Дорога шла все въ гору. Глетчеръ подымался вверхъ, словно рѣка изъ бѣшеныхъ волнъ, внезапно застывшая.

Руди подумаль, какъ это онъ лежалъ съ матерью, тамъ, глубоко внизу, въ такой пропасти, откуда вѣтъ холодомъ.

Но эти мысли скоро разсѣялись, и эта исторія представилась ему такою же обыкновенною, какъ многія другія подобныя исторіи, которыя ему рассказывали.

Отъ времени до времени, когда дорога сдѣлалась ужъ черезчуръ трудна, проводники протягивали руку Руди и спрашивали, не усталъ ли онъ.

Но Руди не уставаль и держался на томъ скользкомъ льду такъ же твердо, какъ серна



Они вступили въ ущелье и пробирались теперь то между голыми скалами, то между елями, то снова выходили на бархатистые зеленые луга.

Кругомъ воздымались Юнгфрау, Монхъ, Эйгеръ.

До сихъ поръ Руди еще никогда не поднимался такъ высоко, никогда еще не ступалъ на снѣжное море, разстилавшееся тутъ, а теперь оно раскидывалось передъ нимъ съ своими неподвижными снѣжными волнами, съ которыхъ время отъ времени вѣтеръ сдувалъ хлопокъ, какъ онъ сдуваетъ пѣну съ морскихъ волнъ.

Глетчеры тутъ стояли, если можно такъ выразиться, рука объ руку. Каждый глетчеръ — это дворець Ледяницы, чье могущество заключается въ томъ, чтобы схватить и похоронить въ ледяной безднѣ.

Солнце ярко сіяло, снѣгъ ослѣплялъ глаза и былъ сплошь усыпанъ синевато-бѣлыми, искрящимися, сверкающими брильянтовыми блестками. Безчисленное множество насѣкомыхъ, бабочекъ и пчелъ лежало мертвыми кучами на снѣгу, — они отважились залетѣть черезчуръ высоко, или вѣтеръ ихъ сюда занесъ, — и задохлись отъ холоду. Черная, грозная туча висѣла вокругъ Веттергорна, точь въ точь тонкая, черная, въ клочьяхъ, шерсть.

Это странствованіе, ночлегъ наверху, въ горахъ, поздняя дорога, глубокія пропасти, гдѣ вода просасывала каменныя массы въ теченіе такого времени, при измѣреніи котораго цѣпенѣтъ мысль, — все это навсегда врѣзалось въ память Руди.

Они нашли себѣ пріютъ на ночь въ заброшенномъ каменномъ строеніи, по ту сторону снѣжнаго моря. Тутъ они нашли уголья и еловый хворостъ.

Скоро огонь былъ разведенъ и ужинъ приготовленъ.

Проводники усѣлись около огня, закурили трубки и пили теплое питье своего собственнаго приготовленія.

Руди тоже угостили этимъ питьемъ.

Рѣчь шла про диковинныхъ альпійскихъ чудовищныхъ змѣй въ бездонныхъ озерахъ, про ночныя страшныя привидѣнія, которыя уносятъ сонныхъ людей по воздуху въ чудный пловучій городъ Венецію; про дикаго пастуха, который пасетъ свое стадо черныхъ овецъ,—хоть этихъ овецъ никто не видѣлъ, но звонъ ихъ колокольчиковъ все-таки слышали; слышали тоже зловѣщее блеянье стада.

Руди жадно прислушивался ко веѣмъ этимъ рассказамъ, но онъ ихъ не боялся. Онъ впервые слушалъ такія вещи, и, слушая, ему чудился глухой ревъ привидѣній.

Да, этотъ ревъ становился все слышнѣе и слышнѣе.

Проводники тоже его заслышали, умолкли, насторожили уши и сказали Руди, чтобы онъ ни за что на свѣтѣ не спалъ.

То былъ ураганъ, тотъ страшный ураганъ, что устремляется съ горъ въ долины и въ своихъ неистовыхъ порывахъ ломаетъ деревья, какъ тоненькія тростинки, и перекидываетъ бревенчатые домики съ одного берега рѣки на другой такъ же легко, какъ вотъ мы передвигаемъ шахматныя фигуры.

Съ часъ они всѣ просидѣли насторожѣ, потомъ шумъ утихъ, и проводники сказали Руди, что ураганъ унялся, и что теперь онъ можетъ уснуть.

Руди очень изморился, и потому тотчасъ же, словно по командѣ, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

На другой день они поднялись ранехонько и опять пустились въ дорогу.

Въ этотъ день солнце освѣтило новыя горы, глетчеры и снѣжныя долины для Руди.

Они вступили въ Валлійскій кантонъ и очутились уже по ту сторону горнаго хребта, который виднѣется изъ Гриндельвальда, но до новаго отечества все-таки было далеконько.

Разверзались новыя пропасти, открывались новыя пастбища, новые лѣса, новыя тропинки по обрывистымъ утесамъ, показывались новые дома иной постройки.

Встрѣчались новые люди, но какіе люди!

Уроды, съ неприятными, жирными, блѣдно-желтыми лицами, съ тяжелыми, отвратительными мясными наростами на шеѣ; наросты эти висѣли точно мѣшки.

То были кретины.

Они волочили кое-какъ ноги, казались хворыми, слабыми, и тупыми глазами смотрѣли на чужихъ просжихъ.

Особенно безобразны были кретины.

Неужто въ новомъ отечествѣ все такіе люди?

У дяди въ домѣ, гдѣ теперъ пришлось поселиться Руди, люди были, благодареніе небу, такіе, какихъ онъ привыкъ видѣть на старой родинѣ.

Всего на все тутъ пріютился одинъ только кретинъ, бѣдный, убогій человѣкъ изъ тѣхъ жалкихъ людей, которые въ Валлійскомъ кантонѣ еще до сихъ поръ ходятъ изъ дома въ домъ и остаются въ каждомъ семействѣ мѣсяць, другой.

Когда Руди пришелъ къ дядѣ, онъ засталъ тамъ тихаго, беспомощнаго бѣднягу Саперли.



III.

Д я д я .



Рудинъ дядя былъ еще молодецъ, охотникъ, — здоровый, крѣпкій, проворный и, кромѣ того, онъ еще зналъ бочарное ремесло.

Жена у него была маленькая, быстрая, живая бабенка съ птичьимъ лицомъ. Глаза у нея были совсѣмъ срилины, а шея обросла точно пухомъ.

Все тутъ было для Руди ново: и одежда, и нравы, и обычаи, даже языкъ.

Но вѣдь дѣти скоро научаются понимать.

Здѣсь, у дяди, было уютнѣе, если посравнить съ дѣдушкинымъ жильемъ; комната была просторнѣй, на стѣнахъ торчали олени рога, блестяли ярко вычищенные ружья, надъ дверями висѣлъ образъ Божіей Матери, а передъ образомъ розовѣли свѣжія альпійскія розы и горѣла лампадка.

Какъ ужъ сказано, Рудинъ дядя считался первѣйшимъ охотникомъ на сернь, а также и лучшимъ проводникомъ.

Въ дядиномъ домѣ Руди скоро долженъ былъ сдѣлаться всеобщимъ баловнемъ.

Правда, тутъ ужъ водился одинъ баловень, а именно, старая, слѣпая и глухая охотничья собака, которая уже не ходила на охоту.

Она не ходила теперь, но прежде-то ходила; ея прежнія хорошія качества не забывались, и потому бѣдное, дряхлое животное считалось членомъ семьи, и за нимъ старательно ходили.

Руди ласково погладилъ собаку, но та ужъ бросила заводить дружбу съ незнакомыми, а Руди пока еще былъ незнакомый, чужой.

Но онъ скоро со всѣми познакомился и пустилъ корни въ домѣ и въ сердцахъ.

— У насъ въ Валлійскомъ кантонѣ не очень дурно, — говорилъ Рудинъ дядя: — у насъ серны водятся и, полагаю, не скоро вымрутъ. Теперь у насъ гораздо лучше, чѣмъ въ прежнія времена.

Да, какъ вы не прославляйте эти старыя времена, а наши все-таки лучше.

Мѣшокъ развязали, и теперь въ нашу долину потянуло свѣжимъ воздухомъ.

— Когда свалится старое, отжившее, всегда выйдетъ наружу что-нибудь хорошенькое! — говорилъ Рудинъ дядя.

А когда дядя бывалъ ужъ особенно въ духѣ, такъ онъ рассказывалъ сначала про свои молодые годы, а потомъ шелъ дальше, выше, до цвѣтущихъ годовъ своего отца, когда Валлійскій кантонъ былъ еще, какъ онъ выражался, закупореннымъ мѣшкомъ, набитымъ жалкими больными крестинами!

— Но вошли французскіе солдаты, и это были чудо какіе лѣкаря: они сейчасъ же убили болѣзнь да убили тоже и больныхъ. О, французы отлично понимаютъ, какъ надо бить—бить на разные манеры, въ разныхъ битвахъ! Француженки тоже на это мастерицы.

И тутъ дядя подмигивалъ своей женѣ, которая была родомъ француженка, и смѣялся.

— Какъ французы били по камнямъ, просто чудо! Они пробили Симплонскую дорогу, — такую дорогу, что я вотъ теперь скажу трехлѣтнему ребенку: «Ступай-ка въ Италію! Иди только все большой дорогой». И ребенокъ какъ разъ придетъ въ Италію, разумѣется, если не будетъ свертывать съ большой дороги.

Потомъ дядя пѣлъ французскія пѣсни, кричалъ: «ура!» и «да здравствуетъ Наполеонъ Бонапартъ!»

Руди въ первый разъ услыхалъ тутъ про Францію, про Ліонъ, большой городъ на Ронѣ.

Дядя бывалъ въ Ліонѣ.

— Пройдетъ немного лѣтъ, и изъ Руди выйдетъ отличный охотникъ на сернь, это ужъ теперь видно!— говорилъ дядя.

И онъ училъ Руди какъ держать ружье, какъ прицѣливаться и какъ стрѣлять.

Онъ бралъ его съ собою на охоту въ горы и заставлялъ его пить теплую кровь серны.

Есть такое повѣрье, что кто пьетъ эту кровь, тотъ не боится головокруженія.

Онъ тоже училъ его какъ узнавать время, когда съ разныхъ горъ начнутъ скатываться лавины въ полдень или ввечеру, смотря по тому, какъ тамъ на нихъ дѣйствуютъ солнечные лучи.

Онъ училъ его какъ надо примѣчать за сернами и за ихъ легкими прыжками и перенимать у нихъ умѣнье твердо ступать и держаться на ногахъ.

— Коли въ трещинѣ скалы нѣту опоры для ноги, — говорилъ дядя, — такъ надо цѣпляться ужъ локтями, бедрами, икрами, даже затылкомъ. Серны очень умны. Онѣ выставляютъ передовыхъ караульныхъ, но охотникъ тоже долженъ быть не промахъ и подходить къ нимъ изъ-за вѣтра.

Разъ Руди былъ съ дядей на охотѣ, и дядя повѣсилъ свой кафтанъ и шляпу на альпійскую палку. Серны приняли это за человѣка и переполошились.

Тропинка по утесамъ была узенькая-преузенькая, да оно вѣрнѣе будетъ, если сказать, что настоящей тропинки вовсе и не было, а былъ какой-то узенькій карнизикъ по краю зіяющей пропасти.

Снѣгъ, лежавшій тутъ, растаялъ, камни крошились, чуть только на нихъ ступали, — путь былъ ненадежный.

Дядя легъ и поползъ.

Каждый кусочекъ, который отрывался отъ скалы, падалъ и отскакивалъ, прыгалъ и катился отъ одной каменной стѣны къ другой, пока, наконецъ, не исчезалъ и не успокоивался въ черной безднѣ.

Недалеко, шагахъ во ста отъ дяди, стоялъ Руди на выступѣ, на твердой вершинѣ утеса.

Оттуда видѣлъ, какъ большой ястребъ закружился въ воздухѣ и замеръ надъ его дядей, — казалось, онъ хочетъ его ударомъ крыла скинуть въ пропасть и тамъ имъ поживиться.

А дядя ничего не видалъ, кромѣ серны, которая пріютилась съ своимъ дѣтенышемъ на другой сторонѣ утеса.

Руди не спускалъ глазъ съ хищной птицы; онъ понималъ, чего ей хотѣлось, и потому былъ наготовѣ выстрѣлить изъ ружья.

Вдругъ серна, вмѣстѣ съ дѣтенышемъ, поднялась однимъ прыжкомъ. Дядя выстрѣлилъ.

Серна упала, а дѣтенышъ ускакалъ.

И ускакалъ онъ такъ быстро и ловко, словно въ теченіе долгихъ лѣтъ пріучался къ бѣгству отъ опасностей.

Огромный ястребъ испугался грохота выстрѣла и бросился въ сторону.

Дядя и не подозрѣвалъ, что ему грозило; онъ узналъ объ этомъ уже послѣ, отъ Руди.

Они воротились домой въ самомъ веселомъ расположеніи духа; дядя насвистывалъ любимую свою пѣсенку, ту, которую онъ пѣвалъ въ молодые свои годы.

Вдругъ они услышали не очень подалеку какой-то необычайный звукъ.

Они осмотрѣлись кругомъ.

Въ вышинѣ, на обрывѣ утеса, подымалось какъ бы снѣговое покрывало и двигалось волнами, словно кусокъ растянутого холста, когда подъ нимъ ходитъ вѣтеръ.

Снѣжныя волны, до тѣхъ поръ такія гладкія, какъ зеркало, и крѣпкія, какъ мраморныя плиты, вдругъ треснули и превратились въ пѣнящіяся, бѣшено-низвергающіяся потоки, которые гремѣли и грохотали, точно глухіе раскаты грома.

Это катилась лавина.

Катилась она, къ счастью, не на Руди и не на его дядю, а поблизости ихъ.

— Держись, Руди! — крикнулъ дядя. — Держись крѣпче! Крѣпче... Изъ всѣхъ силъ...

Руди ухватился за ближнее дерево, дядя проворно вскарабкался на другое и тоже уцѣпился крѣпко-на-крѣпко.

Лавина катилась въ нѣсколькихъ футахъ отъ нихъ, и ея грозныя крылья ломали кругомъ деревья и кустарники, какъ будто они были не что иное, какъ хрупкіе тростники, и далеко разметывали ихъ во всѣ стороны.

Руди лежалъ, крѣпко прижавшись къ землѣ; дерево, за которое онъ уцѣпился, точно вдругъ перегибло и верхушку его далеко отшвырнуло въ сторону.

Между исковерканными вѣтвями лежалъ его дядя съ раздробленной головой.

Его рука была еще теплая, но лица совершенно нельзя было узнать.

Руди стоялъ около него, блѣдный, дрожащій.

Это былъ первый испугъ въ его жизни, первый ужасъ.

Руди воротился домой поздно ввечеру и принесъ страшную вѣсть.

Теперь домъ ихъ сталъ домомъ печали.

У дядиной жены не было ни слезъ ни словъ.

Только когда принесли трупъ, такъ горе ея прорвалось наружу.

Бѣдный кретинъ Саперли залѣзъ въ свою кровать и весь день не показывался.

— Ну, Руди, теперь ты опора дома! — сказала тетка, его пріемная мать.

И Руди, въ самомъ дѣлѣ, сдѣлался опорой.



IV.

Б а б е т а.

Кто самый мѣткій стрѣлокъ въ Валлійскомъ кантонѣ?

Про то очень хорошо знали серны.

«Берегись Руди!» — могли бы онѣ сказать.

Кто самый красивый стрѣлокъ въ Валлійскомъ кантонѣ?

— Разумѣется, Руди!—говорили дѣвушки.

Но дѣвушки не предостерегали:

«Берегись Руди!»

Не предостерегали въ этомъ даже и суровыя, положительныя матушки, потому что Руди такъ же привѣтливо киваль имъ головой, какъ и молодымъ дѣвушкамъ.

Какой онъ былъ смѣлый и веселый этотъ Руди!

Щеки у него загорѣлыя, зубы крѣпкіе и бѣлыя, глаза блестящіе и черные.

Руди былъ молодецъ парень, и ему было всего на все только двадцать лѣтъ.

Ледяная вода была ему нипочемъ; онъ плавалъ въ ней, вертѣлся и кружился, словно рыба. Онъ лазилъ

такъ, какъ никто лазить не умѣлъ, онъ цѣплялся за каменные стѣны. Мускулы у него были отличные,—это достаточно показывалось, когда онъ прыгалъ.

Вѣдь, вы помните, онъ прыгать учился сперва у дѣдушкина кота, а потомъ у серны.

Руди былъ самый первый проводникъ въ кантонѣ,—проводникъ, на котораго можно было смѣло положиться.

Онъ проводничествомъ могъ бы себѣ составить порядочное состояніе.

Бочарное ремесло, которому дядя его также научилъ, не очень-то было ему по-сердцу.

Онъ больше всего любилъ охоту за сернами.

Вѣдь этой охотой тоже можно зашибить копейку.

Руди былъ, что называется, хорошая партія, разумѣется, если только онъ не заберетъ себѣ въ голову оставить свои занятія.

А танцоръ Руди былъ таковъ, что дѣвушки ночи напролетъ видѣли его во снѣ, а у иныхъ такъ и наяву онъ не шелъ съ ума.

— Онъ поцѣловалъ меня во время танцевъ!—сказала дочь школьнаго учителя, Аннета, своей любимой приятельницѣ.

Такія вещи, вы понимаете сами, не легко вѣдь держать въ секретѣ. Это все равно, что песокъ въ рѣшетѣ, — сыплется вонъ, да и только.

И скоро стало извѣстно, что вотъ Руди, хотя онъ таковой отважный и добрый, но цѣлуется въ танцахъ.

А между тѣмъ онъ и поцѣловалъ-то вовсе не ту, которую ему всего больше хотѣлось поцѣловать.

— Да, Руди молодецъ!—сказалъ одинъ старый охотникъ. — Поцѣловалъ Аннету, — значитъ, началъ съ А, съ первой буквы; и ужъ, навѣрное, перецѣлуется всю азбуку.

Одинъ поцѣлуй въ танцахъ,—вотъ все, что до сихъ поръ могли про него сказать усердные языки.

Онъ поцѣловалъ Аннету, но совѣмъ не Аннета была цвѣткомъ его сердца!

Въ глубокой долинь, около Бекса, среди большихъ сръховыхъ деревьевъ, на берегу маленькаго стремительнаго горнаго ручья, жилъ богатый мельникъ.

Мельниковъ домъ былъ большой, просторный, въ три этажа, съ маленькими башенками. Башенки эти были обшиты тесомъ и крыты жестяными листами, которые удивительно блестѣли при солнечномъ и лунномъ свѣтѣ.

На самой высокой башенкѣ былъ флюгеръ,—большая стрѣла, пронзившая яблоко.

Это должно было напоминать выстрѣлъ Вильгельма Телля.

Мельница смотрѣла уютно; ее можно было очень хорошо нарисовать и описать.

Но мельникову дочь нельзя было ни нарисовать ни описать. Такъ, по крайней мѣрѣ, думалъ Руди.

А между тѣмъ она была отлично нарисована на его сердцѣ.

Ея глаза такъ сіяли тамъ, въ этомъ сердцѣ, что просто жгло его, какъ огнемъ.

Это пришло какъ-то неожиданно, внезапно, какъ бываетъ и съ обыкновеннымъ огнемъ.

Всего удивительнѣе въ этомъ дѣлѣ было то, что мельникова дочь, хорошенькая Бабета, и не подозрѣвала, кажется, ничего подобнаго.

И она и Руди еще не сказали другъ другу ни единого слова по этому поводу.

Мельникъ, какъ уже сказано, былъ очень богатъ, и вотъ это самое богатство сдѣлало то, что Бабета стояла очень высоко, и что добраться до нея было очень трудно.

Но какъ иной разъ высоко ни сиди любой предметъ, а все-таки, коли повезетъ счастье, такъ до него можно добраться. Стоитъ только карабкаться хорошенько.

Упасть—не упадешь, коли только не станешь поминутно этого опасаться.

Этому Руди научился еще очень давно, у кота покойнаго дѣдушки.

Однажды случилось, что Руди потребовалось справиться кое-какія дѣла въ Бексѣ.

Въ то время желѣзной-то дороги вѣдь еще не существовало, и это могло назваться цѣлымъ путешествіемъ.

Вдоль Симплонской подошвы, отъ Ронскаго глетчера разстилается широкая Валлійская долина съ своей могучей зеленой рѣкой Роной.

Рона эта часто выступаетъ изъ береговъ и разливается черезъ поля и дороги и все разрушаетъ.

Между городомъ Сень-Морисомъ и городомъ Сиономъ долина дѣлаетъ поворотъ, сгибается точно локоть и за Сень-Морисомъ становится ужъ до того узка, что тамъ остается только мѣсто для русла рѣки да для узенькой проѣзжей дороги.

Старая башня стоитъ тутъ, какъ часовой, передъ Валлійскимъ кантономъ, который здѣсь и оканчивается, и точно смотритъ черезъ каменный мостъ, на таможеню по ту сторону.

Тамъ ужъ начинается Вадскій кантонъ и недалеко лежитъ городъ,—это и есть Бексѣ.

Здѣсь на каждомъ шагу такъ и разливаются богатство и роскошь.

Можно подумать, что попалъ въ паркъ каштановыхъ и орѣховыхъ деревьевъ; тамъ и сямъ выглядываютъ кипарисы и гранатовые цвѣты.

Тутъ тепло по-южному. Кажется, будто ты очутился уже въ благодатной Италіи.

Руди пришелъ въ Бекетъ, справилъ тамъ, какія ему было нужно, дѣла и принялся бродить по городу и осматриваться, не увидитъ ли знакомыхъ.

Но не то что Бабеты, а даже какого-нибудь рабочаго съ мельницы ему не посчастливилось встрѣтить.

Дѣло было неладно.

Ужъ вечерѣло. Воздухъ былъ напоенъ запахомъ дикаго тмина и цвѣтушихъ липъ. По горамъ, на зеленыхъ лѣсахъ, лежало, точно мерцающее, голубое, какъ воздухъ, покрывало.

Куда ни глянь, всюду царствовала тишина.

Только не тишина сна или смерти, нѣтъ, а вся природа словно притаила дыханье, словно она стояла здѣсь для того, чтобы фотографическій снимокъ ея отпечатлѣлся на голубомъ небесномъ фонѣ.

Тамъ и сямъ, между деревьями, на зеленомъ полѣ, стояли столбы, по которымъ протягивалась черезъ тихую долину телеграфная проволока.

Къ одному такому столбу прислонился какой-то предметъ, — предметъ до того неподвижный, что его очень можно было принять за древесный стволъ.

Но это вовсе былъ не древесный стволъ, а Руди.

Руди стоялъ такъ же тихо, какъ тиха была въ ту минуту окружающая его природа.

Руди не спалъ, да ужъ, конечно, и не умеръ.

Часто великія міровыя событія летятъ по телеграфной проволокѣ, а проволока даже и не вздрагиваетъ.

Точно такъ же у Руди толпились овладѣвшія имъ мысли, — мысли о любви, о счастьи, хотя на видъ онъ былъ спокоенъ.

Глаза его устремились въ одну точку—на свѣтъ, который выходилъ изъ той комнаты мельникова дома, гдѣ жила Бабета.

Руди такъ неподвижно тутъ стоялъ, что можно было подумать, будто онъ прицѣпляется въ серну.

Но въ эту минуту онъ и самъ былъ похожъ на серну, которая можетъ, не шевелясь, стоять нѣсколько минутъ къ ряду, словно высѣченная изъ скалы, пока гдѣ-нибудь покатится камень, и она вдругъ встрепенется и, какъ стрѣла, полетитъ прочь.

У Руди шевельнулась мысль.

— Никогда не робѣй! — вскрикнулъ онъ.—Схожу въ гости на мельницу! Пожелаю добраго вечера мельнику, пожелаю добраго вечера Бабетѣ. Никогда не упадешь, коли этого не опасаться!

Коли мнѣ судилось быть мужемъ Бабеты, такъ надо же намъ хорошенько познакомиться?

И Руди засмѣялся.

Ему было весело, и онъ пошелъ бойко къ мельницѣ.

Руди зналъ, чего онъ хотѣлъ.

Онъ хотѣлъ добыть себѣ Бабету.

Рѣка съ блѣдножелтымъ дномъ неслась съ грохотомъ, ивы и липы низко свѣшивались надъ торопящимися волнами.

Руди шелъ по тропинкѣ, прямо къ мельникову дому.

Но случилось, какъ въ пѣсенкѣ, что поютъ дѣти.

„Всѣ хозяева гуляютъ,
Дома кошечка одна.

Кошечка стояла на лѣстницѣ, согнула спину дугой и сказала :

— Мяу!

Но Руди ничего не понялъ въ ея разговорѣ.

Онъ постучался.

Никто его не услыхалъ, никто ему не отворилъ дверей.
— Мяу!—сказала опять кошка.

Будь Руди еще ребенкомъ, онъ бы отлично уразумѣлъ кошачій языкъ и понялъ бы, что кошка говорила :

— Никого нѣтъ дома!

Но Руди ужъ не былъ ребенкомъ, не понялъ ничего, и потому долженъ былъ итти на мельницу и разспрашивать.

На мельницѣ ему сказали, что мельникъ уѣхалъ далеко, въ Интерлакенъ, и дочь его, Бабета, тоже уѣхала съ нимъ, что тамъ большой праздникъ стрѣлковъ, что праздникъ этотъ начнется завтра, будетъ длиться цѣлыхъ восемь дней, и что туда сберется народъ изъ всѣхъ нѣмецкихъ кантоновъ.

Вотъ тутъ-то можно было по справедливости сказать :
— Бѣдняжка Руди! не въ добрый часъ онъ пришелъ въ Бексъ!

Теперь ему оставалось только воротиться назадъ.

Такъ онъ и сдѣлалъ.

Онъ пошелъ черезъ Сенъ-Морисъ и Сионъ, въ свою родную долину, къ своимъ роднымъ горамъ.

Онъ, однако, не унывалъ. На другое утро, когда взошло яркое солнце, онъ былъ уже веселъ, какъ птица въ поднебесьи.

Веселье его было, что называется, во всемъ цвѣту.

Впрочемъ, оно, собственно говоря, никогда и не пропало.

— Бабета въ Интерлакенѣ,—говорилъ онъ самъ себѣ,—значить, всего на все туда нѣсколько дней итти. Путь длиненъ, коли ѣхать по большой широкой дорогѣ, но пойти наискось, черезъ горы, вовсе не такъ далеко.

А вѣдь горная-то дорога и есть настоящая для охотника! Я прежде, когда-то тамъ хаживалъ: тамъ моя родина, тамъ я ребенкомъ жилъ у покойнаго дѣдушки. А въ Интерлакенѣ праздникъ стрѣлковъ! Я хочу быть тамъ, и буду первымъ! Я отличусь... Я у Бабеты тоже хочу быть первымъ... когда напередъ получше ознакомлюсь съ нею!

Перекинулъ Руди свою легкую котомку съ праздничнымъ платьемъ черезъ спину, а ружье и охотничью сумку за плечи и пошелъ въ гору короткой дорогой.

Короткая эта дорога была, однакожъ, довольно длинна.

Но праздникъ стрѣлковъ вѣдь только что начался въ этотъ день и будетъ длиться цѣлую недѣлю,—можетъ, еще больше.

Ему сказали, что все это время мельникъ съ Бабетой будутъ гостить у своихъ родныхъ въ Интерлакенѣ.

Руди отправился черезъ Гемми; ему хотѣлось спуститься около Гриндельвальда.

Онъ подымался въ гору бодро и весело и съ удовольствіемъ вдыхалъ свѣжій, легкій, живительный горный воздухъ.

Долина уходила все ниже да ниже, все вглубь; горизонтъ расширился.

Тутъ вотъ одна снѣжная вершина, тамъ, вонъ, другая, а дальше—сверкающая цѣпь Альповъ.

Руди знакома была каждая гора.

Онъ пошелъ прямо въ Шрекгорнъ, который высоко-высоко поднималъ свой, запущенный снѣгомъ, каменный палецъ въ голубомъ воздухѣ.

Наконецъ Руди перебрался черезъ самую высокую вершину.

Зеленяя пастбища склонялись все выше и ниже къ его родимой долинь, воздухъ былъ такой легкій.

Да и на сердцѣ у Руди было легко.

Горы и долины стояли убранныя великолѣпными травами и цвѣтами, а въ сердцѣ било ключомъ молодое чувство,—то чувство, которое ни про старость ни про смерть ничего знать не хочетъ.

Жить, повелѣвать мірами, наслаждаться—вотъ на что оно мѣтитъ, молодое чувство-то!

Руди былъ свободенъ, какъ дикая птица, и легко, какъ дикая птица.

И ласточки летали вокругъ него и пѣли, какъ во время его дѣтства:

— Мы и вы! Вы и мы!

Всюду-всюду были веселье и радость.

Внизу лежалъ зеленый бархатный лугъ. Лугъ этотъ былъ усаженъ коричневыми бревенчатыми домиками. Горный ключъ журчалъ и гремѣлъ.

Руди увидалъ глетчеръ съ его стеклянно-зелеными краями и грязнымъ снѣгомъ; онъ посмотрѣлъ въ глубокія щели и расщелины, поглядѣлъ на верхній глетчеръ и на нижній.

Церковные колокола звонили ему навстрѣчу, словно хотѣли привѣтствовать на родинѣ.

Сердце его вдругъ такъ расширилось, такъ забилось, что на минуту Бабета совершенно оттуда исчезла.

Воспоминанія нахлынули на него, какъ морской приливъ, и совсѣмъ его затопили на время.

Онъ пошелъ дальше по дорогѣ, по той самой дорогѣ, гдѣ маленькимъ мальчуганомъ стоялъ вмѣстѣ съ другими дѣтьми и продавалъ рѣзные домики.

Тамъ, наверху, за этими елями, все еще стоялъ домикъ покойнаго дѣдушки.

Но теперь тамъ жили чужіе люди.
Навстрѣчу бѣжали по дорогѣ дѣти.
Имъ очень хотѣлось сбыть ему свой товаръ.
Одинъ мальчикъ протянулъ ему альпійскую розу.
Руди взялъ эту розу, какъ хорошій знакъ, и подумалъ про Бабету.

Скоро онъ переправится черезъ мостъ, который соединяетъ оба ручья.

Здѣсь лиственный лѣсъ становился уже гуще, ореховыя деревья давали тѣнь.

Онъ увидалъ тутъ развѣвающіеся флаги, бѣлый крестъ по красному полю — флагъ швейцарца и датчанина.

Передъ нимъ лежалъ Интерлакенъ.

«Вотъ великолѣпный городъ! — подумалъ Руди. — Ужъ, конечно, такого другого нѣтъ въ цѣломъ свѣтѣ».

У швейцарскаго городка, да еще въ праздничномъ нарядѣ, совсѣмъ не такой видъ, какъ у всѣхъ прочихъ городовъ.

Другіе города такіе тяжеловѣсные, это просто кучи каменныхъ строеній, непривѣтливыхъ и важныхъ.

Нѣтъ, здѣсь совсѣмъ другое. Здѣсь казалось, будто деревянные домики сбѣжали сверху горъ въ зеленую долину и размѣстились своевольными рядами вдоль свѣтлой, быстрой рѣчки. Одни выдвинулись немножечко впередъ, другіе немножечко отступили назадъ, но все же образовали хорошенькую улицу.

Одна улица самая великолѣпная, такъ просто словно выросла изъ земли, съ тѣхъ поръ, какъ Руди былъ здѣсь маленькимъ мальчуганомъ.

Ему казалось, что она сложилась изъ всѣхъ тѣхъ маленькихъ рѣзныхъ домиковъ, которые вырѣзывалъ

его покойный дѣдушка, и которыми были биткомъ набить его шкапъ.

Да, точно, всё эти игрушки выстроились здѣсь и выросли, какъ старыя каштановыя деревья.

Каждый домъ былъ, какъ его величали, отелемъ съ рѣзными деревянными украшеніями вокругъ оконъ и балконовъ, съ выступающей красивой узорчатой крышей.

И предъ каждымъ такимъ отелемъ было по цвѣтнику, и каждый цвѣтникъ выходилъ на большую дорогу, а дорога была мощена макадамомъ.

Вдоль этой дороги стояли дома, но только по одну ея сторону, иначе они бы заслонили собою свѣжія, зеленыя поля, гдѣ паслись коровы съ колокольчиками на шеѣ,—съ колокольчиками, которые звенѣли точно наверху Альповъ.

А луга были окружены высокими горами, которыя словно разступились посрединѣ для того, чтобы можно было видѣть ослѣпительную свѣжнюю Юнгфрау, самую сіяющую красавицу изъ кантоновъ.

У каждаго стрѣлка свой номеръ въ вѣнкѣ на шляпѣ.

Тутъ гремѣла музыка, разносилось пѣніе, тутъ вертѣлись шарманки, трубили трубачи, — шумъ, гамъ и движеніе такіе, что и не изобразишь.

Дома и мосты всё разукрашены эмблемами и стихами, знамена и флаги развѣваются, ружья то и дѣло трещать, выстрѣлы такъ и сыплются одинъ за другимъ.

А для Руди выстрѣлы были самой наилучшей музыкой.

Въ этой суматохѣ молодой охотникъ позабылъ даже на минуту про Бабету, изъ-за которой онъ и пришелъ-то сюда. Стрѣлки толпились около стрѣльбы въ цѣль.

Скоро Руди ужъ стоялъ между ними.

Разумѣется, онъ казался самымъ ловкимъ и самымъ счастливымъ изъ всѣхъ.

Его выстрѣлъ всякій разъ попадалъ въ самую середку, въ черный кружочекъ.

— Кто этотъ неизвѣстный, молоденькій охотникъ?— спрашивали всѣ.

— Онъ говоритъ по-французски, какъ говорятъ въ Валлійскомъ кантонѣ, и тоже очень хорошо говоритъ по-нашему, по-нѣмецки,—замѣчали нѣкоторые.

— Онъ, какъ былъ еще ребенкомъ, такъ, кажется, жилъ въ здѣшней сторонѣ, около Гриндельвальда,— сказалъ одинъ охотникъ.

Жизнь такъ и кипѣла, такъ и играла въ незнакомомъ молодцѣ. Глаза у него горѣли, взглядъ и руки были вѣрные, и поэтому-то онъ всегда попадалъ въ цѣль.

Отвага завладѣваетъ счастьемъ, а отвагой-то Богъ Руди не обидѣлъ.

Скоро около Руди собрался цѣлый кружокъ новыхъ друзей. Ему оказывали вниманіе, почтеніе,—передъ нимъ даже благоговѣли.

Бабета словно выскочила у него изъ головы.

Вдругъ тяжелая рука хлопаетъ его по плечу, и басистый голосъ спрашиваетъ по-французски:

— Вы изъ Валлійскаго кантона?

Руди обернулся и увидалъ позади себя толстяка съ краснымъ довольнымъ лицомъ.

То былъ богатый мельникъ изъ Бекса.

Мельникъ совсѣмъ закрылъ хорошенькую дочку Бабету своимъ тучнымъ тѣломъ.

Однако она все-таки изловчилась выглянуть изъ-за него блестящими, черными глазами.

Богатому мельнику очень польстило то, что стрѣлокъ изъ его кантона дѣлаеть самые мѣткіе выстрѣлы и заслужилъ всеобщее уваженіе.

Можно сказать положительно, что Руди везло счастье: то, за чѣмъ онъ сюда пришелъ и что онъ здѣсь было почти совсѣмъ забылъ, само шло ему навстрѣчу.

Ужъ если земляки встрѣтятся гдѣ-нибудь на чужбинѣ, они непременно разговоятся и познакомятся.

Руди, благодаря своей мѣткой стрѣльбѣ, попалъ въ первые стрѣлки на праздникъ, а мельникъ былъ первымъ въ Бексѣ по своимъ деньгамъ и по всей отличной мельницѣ.

Вотъ они теперь и пожали другъ другу руки, чего прежде никогда не бывало.

Бабета тоже протянула руку молодому охотнику, а онъ пожалъ крѣпко и такъ поглядѣлъ на нее, что она вся покраснѣла.

Мельникъ рассказывалъ, какъ они долго были въ дорогѣ и сколько они видѣли въ пути большихъ городовъ.

По мнѣнію мельника, они сдѣлали препорядочное путешествіе, ѣхали и на паромѣ, и на желѣзной дорогѣ, и въ почтовой каретѣ.

— А я такъ пробрался сюда короткой дорогой,—сказалъ Руди.—Я пришелъ по горамъ. Нѣтъ такой высокой дороги, по которой бы невозможно пробраться.

— А шею сломать — это ничего? — сказалъ мельникъ.—Какъ погляжу я на васъ, такъ вы, кажись, этого не минете: вы рано или поздно, а ужъ сломите себѣ шею. Вы ужъ черезчуръ смѣлы!

— О, никогда не упадешь, коли только не станешь себѣ этого воображать!—отвѣтилъ Руди.

Интерлакенская родня, у которой гостилъ мельникъ съ Бабетой, пригласила къ себѣ Руди, — вѣдь онъ изъ одного кантона съ мельникомъ.

Это было приглашеніе, очень пріятное для Руди.

Счастье ему благопріятствовало, какъ оно всегда благопріятствуетъ тому, кто самъ на себя надѣется и рассчитываетъ.

Вѣдь, извѣстно, что, по пословицѣ, Богъ даетъ намъ срѣхи, но не раскусываетъ ихъ для насъ.

Руди сидѣлъ у мельниковой родни, точно принадлежалъ тоже къ ихъ семейству.

Вотъ стали пить за здоровье лучшаго стрѣлка.

Бабета тоже чокнулась. Руди благодарилъ за тостъ.

Подъ вечеръ всѣ отправились гулять по прекрасной дорогѣ, мимо рѣзныхъ отелей, подъ старыми орѣховыми деревьями.

Тамъ такъ много было народу, что Руди вынужденъ былъ предложить руку Бабетѣ.

Ужъ онъ такъ радъ, — говорилъ онъ, — что ему повезло встрѣтить людей изъ кантона Вада.

Вѣдь кантоны Вадъ и Валлисъ — сосѣди и друзья!

Онъ рассказалъ про эту радость такъ горячо, что Бабета не могла удержаться, чтобъ не пожать ему за это руку.

Они шли рядышкомъ, словно старинные знакомые.

Бабета тоже разговаривала и рассказывала.

«Какъ это къ ней идетъ, когда она подтруниваетъ надъ смѣшной походкой и надъ вычурными нарядами чужеземныхъ дамъ! — думалъ Руди. — Она вѣдь это вовсе говоритъ не для того, чтобы насмѣхаться, — нѣтъ, потому что эти чужестранки, можетъ статься, славные честные люди».

Бабета это очень хорошо может понять, — у нея у самой крестная мать — важная англійская леди.

Восемнадцать лѣтъ тому назадъ, когда крестили Бабету, эта важная леди жила въ Бексѣ и попала въ крестныя матери.

Она-то и подарила Бабетѣ ту дорогую булавку, которую она всегда носить на груди.

Два раза крестная мать писала къ крестницѣ, а ужъ нынѣшній годъ онѣ должны были непременно увидаться здѣсь, въ Интерлакенѣ.

Да, Бабета увидитъ крестную мать и ея двухъ дочерей.

— Дочери эти ужъ дѣвушки въ лѣтахъ, имъ ужъ лѣтъ тридцать, — говорила Бабета.

А Бабетѣ всего на все восемнадцать!

Маленькій ротикъ не умолкалъ ни на единую минуту, и все, что ни говорила Бабета, казалось Руди самими важными вещами во всей вселенной.

И онѣ, въ свой чередъ, тоже рассказывалъ ей, что у него было рассказывать: какъ онѣ бывалъ въ Бексѣ, какъ хорошо онѣ знаетъ ихъ мельницу и какъ часто онѣ видалъ Бабету, а она, навѣрное, никогда не замѣчала его.

И вотъ, когда онѣ былъ на мельницѣ въ послѣдній разъ и когда у него въ головѣ бродило такъ много-много мыслей, такъ много такого, чего онѣ и выговорить не можетъ, ихъ не было дома, ни ея ни ея отца — они далеко уѣхали.

Но все же не такъ ужъ далеко, чтобы нельзя было перебраться черезъ горную стѣну, которая запираетъ ближнюю дорогу!

Да, онѣ говорилъ все это и еще много другого.

Онъ говорилъ, какъ она ему пришлась по-душѣ, и что онъ пришелъ сюда для нея, а вовсе не для праздника.

Бабета совѣмъ смѣшалась.

«Онъ, кажется, воображаетъ, что я ужъ все могу переносить!» думала она.

И пока они гуляли, солнце зашло за высокую стѣну утесовъ. Великолѣпная Юнгфрау сіяла, окруженная лѣснымъ, зеленымъ вѣнцомъ сосѣднихъ горъ.

Всѣ остановились и стали любоваться на чудную картину.

Руди и Бабета тоже на нее любовались.

— Нигдѣ на свѣтѣ лучше быть не можетъ, — сказала Бабета.

— Нигдѣ! — сказалъ Руди.

И посмотрѣлъ на Бабету.

— Завтра мнѣ надо домой, — сказалъ Руди, нѣсколько минутъ спустя.

— Приходи къ намъ въ Бексъ, — прошептала Бабета. — Папа будетъ очень радъ.





V.

На возвратномъ пути.



сколько Руди пришлось нести, когда онъ возвращался домой по утесистымъ высокимъ горамъ!

Онъ несъ три серебряныхъ кубка, два прекрасныхъ ружья и серебряный кофейникъ.

А кофейникъ - то вѣдь понадобится, когда придется обзаводиться своимъ домкомъ!

Ну, да это не главное.

Онъ несъ что-то поважнѣе и посильнѣе.

Онъ неся, или его несло по утесистымъ высокимъ горамъ. Погода была холодная, дождливая, сѣрая, тяжелая. Тучи опускались, словно черный крепь, на черныя вершины и скрывали ихъ сіяющія верхушки.

Откуда-то изъ глубины раздавались удары топора, а по склону горъ катились древесные стволы, которые сверху представлялись тоненькими жердочками, но на самомъ дѣлѣ были такіе, какъ самыя крѣпкія корабельныя мачты.

Горный ключъ однообразно шумѣлъ, вѣтеръ завывалъ, тучи быстро неслись.

Вдругъ около Руди очутилась молодая дѣвушка.

Онъ не замѣтилъ этой дѣвушки, пока она не стала какъ разъ подлѣ него.

Она тоже собиралась всходить на крутые утесы.

Въ глазахъ у этой дѣвушки была какая-то необычайная сила. Такъ и тянуло все глядѣть въ эти глаза, глядѣть прямо въ нихъ.

Они были такіе необыкновенные, свѣтлые, какъ хрусталь, и глубокіе-глубокіе — совсѣмъ бездонные.

Руди только и думалъ, что про любовь.

— Что, у тебя есть возлюбленный? — спросилъ Руди.

— Нѣтъ никого, — отвѣчала дѣвушка.

Отвѣтила и засмѣялась. Но выходило почему-то, точно въ этомъ не было ни слова правды.

— Къ чему мы станемъ дѣлать крюкъ? — сказала дѣвушка. — Намъ надо держать лѣвъѣе, это будетъ ближе.

— Какъ же не ближе! — отвѣтилъ Руди. — Прямехонько свалимся въ пропасть! Такъ-то ты знаешь дорогу, а еще берешься быть проводникомъ!

— Я отлично знаю дорогу, — сказала дѣвушка, — и мои-то мысли не въ разбродѣ. Твои, вѣрно, гуляютъ внизу, въ долинѣ! Здѣсь, наверху, надо думать только

про дѣву льдовъ, про Ледяницу. Знаешь, говорятъ, она не любитъ людей.

— Я ея не боюсь, — отвѣтилъ Руди. — Ей пришлось меня отдать, когда я еще былъ ребенкомъ, а теперь, когда я сталъ старше, я ужъ и подавно ей не поддамся.

А темнота все сгущалась, лилъ дождь, пошелъ снѣгъ.

Снѣгъ этотъ блестяль и слѣпиль.

— Дай мнѣ руку, — сказала дѣвушка, — я стану тебѣ помогать взбираться.

И Руди почувствовалъ, какъ до него дотронулись ледяные пальцы.

— Ты мнѣ будешь помогать? — сказали Руди. — Ну, мнѣ еще пока бабьей помощи не надо.

И онъ быстро пошелъ впередъ, прочь отъ нея.

Вьюга заносила его, словно накидывала какое-то покрывало. Вѣтеръ яростно бушевалъ, и онъ слышалъ позади себя смѣхъ и пѣсни дѣвушки.

И смѣхъ и пѣсни звучали такъ странно. Вѣрно, это было привидѣніе изъ свиты дѣвы - Ледяницы.

Руди слышалъ про это, когда еще ребенкомъ онъ, по дорогѣ черезъ горы, ночевалъ здѣсь наверху.

Снѣгъ началъ падать рѣже, облака лежали надъ нимъ.

Онъ обернулся и посмотрѣлъ назадъ.

Никого ужъ не было видно, но все еще слышались смѣхъ и пѣніе.

Казалось, они выходили не изъ человѣческой груди.

Когда Руди, наконецъ, вскарабкался на самую верхнюю площадку, откуда вилась тропинка въ Ронскую долину, онъ увидалъ по направленію къ Шамуни двѣ яркія звѣзды, въ свѣтлой голубой полосѣ воздуха.

Эти звѣзды горѣли и искрились, и Руди подумалъ про Бабету и про себя, и про свое счастье, и отъ этихъ мыслей ему стало тепло.



VI.

Въ гостяхъ на мельницѣ.

— Важнѣйшія вещи ты принесть, — говорила старая тетка.

Говорила, и ея странные орлиные глаза блестяли, и она вертѣла свою худую шею быстрѣе и чуднѣе обыкновеннаго.

— Тебѣ, Руди, валить счастье! Да, валить. Дай я тебя поцѣлую, милый ты мой мальчикъ.

Руди далъ себя поцѣловать, но на лицѣ его очень ясно было написано, что онъ въ этомъ случаѣ только покоряется обстоятельствамъ.

— Какой ты красавецъ, Руди! — сказала старая тетка.

— Ну, полно, пожалуйста, не выдумывай! — отвѣчалъ Руди и засмѣялся.

Но все-таки это было ему пріятно слышать.

— А я все-таки свое повторю! — сказала старая тетка: — Счастье къ тебѣ валить!

— Да, оно пожалуй что и валить, — сказалъ Руди. И подумалъ про Бабету.

Никогда, нѣтъ, никогда еще его такъ не тянуло въ глубокую долину.

«Они ужь, вѣрно, теперь дома, — думалъ онъ. — Они хотѣли вернуться еще два дня тому назадъ. Надо идти въ Бексъ».

И Руди отправился въ Бексъ, и на мельницѣ всѣ хозяева были ужь дома.

Его приняли очень ласково, очень хорошо.

Ему даже привезли поклоны отъ Интерлакенской родни.

Бабета теперь говорила немного. Она стала очень молчалива.

Но глаза ея говорили, а этого для Руди было совершенно достаточно.

Прежде мельникъ всегда завладѣвалъ разговоромъ: мельникъ, видимо, ужь привыкъ, что онъ всегда и вездѣ первый, — привыкъ, чтобы смѣялись его остротамъ и каламбурамъ, — вѣдь онъ мельникъ богатый!

Но теперь, казалось, мельникъ гораздо охотнѣе прежняго слушаетъ рассказы Руди про его разныя охотничьи приключенья.

А Руди рассказывалъ про трудности и опасности, какія встрѣчаются охотнику за сернами на высокихъ горныхъ вершинахъ; какъ охотники должны карабкаться по едва замѣтнымъ, ненадежнымъ снѣжнымъ тропинкамъ, которыя лѣплятся у самаго обрыва утесовъ, и по смѣлымъ хрупкимъ мостамъ, которые перебросила вьюга черезъ бездонныя пропасти.

Горѣли глаза отважнаго Руди, когда онъ рассказывалъ про охотничью жизнь, про смѣтливость сернь и про ихъ удивительные прыжки и скачки, про могучіе горные каскады и про катящіяся лавины.

И Руди очень хорошо замѣчалъ, что съ каждымъ разсказомъ онъ приобрѣталъ все больше и больше расположеніе мельника.

Особенно сильное впечатлѣніе произвелъ на мельника разсказъ про коршуна и орла.

Недалеко, въ Валлійскомъ кантонѣ есть орлиное гнѣздо. Это гнѣздо чрезвычайно искусно устроено подь выступомъ одного высокаго утеса.

Тамъ, на самомъ верху, сидитъ орленокъ; но его оттуда не вынешь!

Одинъ англичанинъ, всего нѣсколько дней тому назадъ, давалъ Руди цѣлую горсть червонцевъ за то, чтобы онъ досталъ ему оттуда орленка.

— Но вѣдь всему есть границы! — сказалъ Руди. — Орленка не достанешь, и безуміе было бы за это и браться.

И вино лилось и рѣчи лились, только одно горе: вечеръ ужъ черезчуръ коротокъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось Руди. А ужъ было за полночь, когда онъ шелъ домой, послѣ этого перваго посѣщенія.

Нѣкоторое время свѣтъ еще мелькалъ изъ окна мельницы сквозь зеленныя вѣтви.

Слуховое окно было открыто. Изъ него вышла домовая кошка, а по водосточной трубѣ къ ней взобралась другая кошка, кухонная.

— Знаешь, какія новости у насъ на мельницѣ? — сказала комнатная кошка. — У насъ здѣсь такая поговорка! Да! Батенька-то ничего объ этомъ не знаетъ.

— Руди и Бабета цѣлый вечеръ наступали другъ другу на ноги подь столомъ.

Они и на меня два раза наступили, но я не замаякала, потому что это могло бы обратить вниманіе.

— А я бы такъ замяукала! — сказала кухонная кошка.

— Что хорошо на кухнѣ, то не годится въ комнатахъ! — сказала домовая кошка. — А любопытно мнѣ знать, что скажетъ мельникъ, когда узнаетъ про эту помолвку!

Да, что-то скажетъ мельникъ?

Вотъ это-то и хотѣлось узнать Руди.

Но долго дожидаться, пока это узнаешь, такъ долго, что Руди былъ не въ силахъ.

Именно, потому что Руди былъ не въ силахъ дожидаться, онъ и катился, черезъ нѣсколько дней, въ омнибусѣ по ронскому мосту, между Валлисомъ и Вадомъ.

И какой Руди веселый сидѣлъ въ омнибусѣ!

Онъ убаюкивалъ себя сладкими мечтами о томъ, какъ ему, сегодня же ввечеру, скажутъ да...

Насталъ вечеръ, и омнибусъ по той же дорогѣ катился обратно, и опять тамъ сидѣлъ Руди и ѣхалъ обратно по той же самой дорогѣ.

А на мельницѣ бѣгала съ новостями комнатная кошка.

— Знаешь, кухонная, мельнику теперь ужъ все извѣстно! Однако кончилось отлично! Руди пришелъ къ намъ подъ вечеръ, и ужъ они съ Бабетой шептались-шептались, толковали-толковали другъ съ дружкой! Они стояли въ сѣняхъ, а мельникъ сидѣлъ въ комнатѣ. Я лежала около ихъ ногъ, но ихъ мыслямъ и глазамъ, имъ, разумѣется, было ужъ не до меня.

«Руди сказалъ:

«— Я безъ дальнихъ думъ и размышленій прямо пойду къ твоему отцу, — такъ будетъ честнѣй всего.

«— Не пойди ли и мнѣ съ тобой?—спросила Ба-
бета. — Это придастъ тебѣ смѣлости.

«— Смѣлости у меня есть довольно, — отвѣчала
Руди, — но если ты тоже тутъ будешь стоять, такъ ужъ
онъ, навѣрное, жестоко не будетъ.

«И потомъ они пошли.

«Руди больно наступилъ мнѣ на хвостъ.

«Руди куда какъ бываетъ подчасъ неловокъ!

«Я замыкала, но ни онъ ни Бабета и ухомъ не по-
велицъ. Они отворили дверь, вмѣстѣ вошли въ нее, а я
впередъ прошмыгнула.

«Я, однакожь, въ ту же секунду вспрыгнула на спинку
стула, потому что... почему я знаю! Можетъ, Руди
опять заблагоразсудить наступить мнѣ на хвостъ.

«Вошелъ мельникъ и далъ Руди порядочнаго пинка.

«— Вонъ ступай! Проваливай-ка на горы къ своимъ
сернамъ, цѣлся-ка въ нихъ, а не въ нашу Бабету!»

— Ну, что они, однако, отвѣтили? Что говорили?—
спросила кухонная кошка.

— Что они говорили? Да все было говорено, что
обыкновенно говорится, когда люди сватаются:

«Я люблю ее», «она любитъ меня», «а коли есть въ
кринкѣ молока на одного, такъ станеть и на двоихъ!»

«— Бабета больно высоко сидитъ! — сказалъ мель-
никъ. — Она вѣдь сидитъ на крупчаткѣ, на золотой
крупчаткѣ! Ты долженъ знать, что тебѣ до нея не
достать!

«— Нѣтъ ничего такого высокаго, чего бы нельзя
было достать, коли только этого захотѣть! — отвѣчала
ему Руди. — Я вѣдь малый не робкаго десятка.

«— А вѣдь ты самъ же говорилъ въ послѣдній разъ,
что орленка достать не можешь, что чистое безуміе

было бы и браться за это! Ну, Бабета, скажу тебѣ, сидить еще повыше орленка!

«— Я достану ихъ обоихъ, — сказалъ Руди.

«— Достанешь? Ну, ладно: я подарю тебѣ Бабету, коли ты подаришь мнѣ живого орленка! — сказалъ мельникъ.

«И какъ это сказалъ, такъ смѣялся до слезъ.

«— А теперь спасибо тебѣ, Руди, что пожаловалъ сегодня къ намъ въ гости. А коли пожалуешь завтра, такъ завтра никого дома нѣтъ. Прощай, Руди!

«И Бабета тоже простилась съ Руди, только простилась она такъ жалобно, какъ котеночекъ, который еще не можетъ видѣть своей матери.

«— Что сказано, то сдѣлано, — сказалъ Руди. — Не плачь, Бабета: я принесу орленка!

«— Ты сломнишь себѣ шею, я такъ и рассчитываю! — сказалъ мельникъ. — А сломнишь шею, и все дѣло въ шляпѣ: избавишь насъ отъ всей этой бѣготни и суеты!

«Да, это я называю пинкомъ, и пинкомъ такимъ, что прелестъ!

«Теперь Руди ушелъ, и Бабета сидитъ да плачетъ, а мельникъ поетъ нѣмецкія пѣсни: онъ этому научился, какъ ѣздилъ въ послѣдній разъ путешествовать.

«А мнѣ нѣтъ никакой охоты горевать объ этомъ, — вѣдь все равно гореванье не поможетъ!»

— Оно, конечно, — сказала кухонная кошка, — но вѣдь еще остается надежда.



VII.

Орлиное гнѣздо.



На горной тропинкѣ раздается пѣсня, — пѣсня веселая и громкая.

Она свидѣтельствуетъ о хорошемъ расположении духа и о смѣлости. Это поетъ Руди.

Онъ идетъ къ своему пріятелю Безинанду.

— Послушай, Безинандъ, ты долженъ мнѣ помочь. Мы возьмемъ еще съ собой Нагли. Мнѣ надо вынуть орленка изъ гнѣзда. Знаешь, тамъ, наверху, на краю утеса.

— Да ты бы ужъ лучше напередъ попробоваль снять темныя пятна съ мѣсяца, — сказалъ Безинандъ. — Вѣдь это такъ же легко! Ты это шутишь, что ли? Тебѣ никакъ очень весело?

— Еще бы мгѣ не весело! Вѣдь у меня задумана свадьба! Послушай, я теперь говорю серьезно: мнѣ надо вынуть орленка!

И Руди разсказаль Безинанду и Нагли все дѣло.

— Ну, признаюсь, смѣльчакъ же ты! — сказали они. — Только это вѣдь безумье: ты сломишь себѣ шею!

— Никогда не упадешь, если только не станешь объ этомъ думать, — сказалъ Руди.

Въ самую полночь они двинулись въ путь съ шестами, съ лѣвѣтницами и съ веревками.

Дорога шла все лѣсомъ да кустарниками, и все по катящимся камнямъ, все въ гору, въ сумрачную мглу.

Вода шумѣла и гремѣла внизу, вода катилась и струилась наверху, влажныя тяжелыя облака носились въ воздухѣ.

Достигли охотники до высокихъ утесовъ, и тутъ мракъ сталъ еще гуще, каменные стѣны почти сталкивались между собою вмѣстѣ, и только высоко-высоко, въ узенькую щель сверху, просвѣчиваль свѣтъ.

Рядомъ, подъ ихъ ногами, зіяла глубокая пропасть, и на днѣ этой пропасти шумѣла вода.

Они рѣшили дожидаться тутъ разсвѣта, и всѣ трое сѣли на камни.

Они потому дожидались разсвѣта, что тогда орель вылетитъ изъ гнѣзда.

Вѣдь надо напередъ убить орлицу, а потомъ ужъ думать о томъ, какъ захватить орлятъ.

Руди сидѣль, прижавшись къ камню, сидѣль такъ тихо, словно самъ былъ кускомъ камня.

Онъ держалъ наготовѣ ружье со взведеннымъ куркомъ и не отрывалъ глазъ отъ пропасти на самомъ верху, гдѣ висѣло орлиное гнѣздо, спрятанное подъ выступомъ утеса.

Долгонько - таки пришлось ждать молодымъ охотникамъ.

Наконецъ высоко-высоко надъ ними вдругъ зашумѣло, затрещало, пахнуло холодомъ отъ размаха крыльевъ, и что-то громадное, парящее затемнило воздухъ вокругъ нихъ.

Два ружья прицѣлились въ ту самую минуту, какъ черная орлиная фигура вылетѣла изъ гнѣзда. Раздались выстрѣлы. Одно еще мгновенье шевелились распростертыя крылья, потомъ птица начала медленно опускаться.

Казалось, она своей массой и этими широко распушенными крыльями наполнить всю пропасть и увлечь въ своемъ паденьи и самихъ охотниковъ.

Орель упалъ въ бездну. Отъ паденья птицы поломались древесныя вѣтви и кусты.

Охотники тронулись съ мѣста.

Они связали вмѣстѣ три самыя длинныя лѣстницы и утвердили ихъ на самой крайней твердой точкѣ, на краю пропасти.

Но все-таки лѣстницы не доставали. Каменная стѣна, гдѣ пряталось орлиное гнѣздо, подъ гладкой, какъ сталь, вершиной, была еще выше.

Они стали совѣщаться, и послѣ недолгаго совѣщанья сошлись на томъ, чтобы еще связать вмѣстѣ двѣ лѣстницы, спустить ихъ въ пропасть сверху и соединить съ тѣми тремя, которыя висятъ уже внизу.

Съ великимъ трудомъ втащили они вверхъ эти двѣ лѣстницы, крѣпко-накрѣпко связали веревки, выдвиг-

нули лѣстницы черезъ выступающіе утесы, и вотъ онѣ свободно повисли надъ пропастью.

Руди ужь сидѣлъ на первой ступенькѣ.

Утро было холодное-прехолодное; изъ темной пропасти поднимались облака тумана.

Руди сидѣлъ тамъ, точно муха на колеблющейся соломинкѣ, которую какая-нибудь птица, вьющая себѣ гнѣздо, уронила на край высоченной фабричной трубы.

Но муха можетъ вѣдь улетѣть, если соломинка упадетъ, а Руди могъ только сломить себѣ шею.

Вѣтеръ такъ и завывалъ вокругъ, а внизу, въ черной безднѣ, шумѣла вода отъ тающаго льда глетчера, — отъ дворца Ледяницы.

Вотъ Руди раскачался на лѣстницѣ, какъ раскачивается паукъ, когда онъ, сидя на своей длинной воздушной паутинкѣ, хочетъ что-нибудь схватить.

Четыре раза раскачивался Руди, и только въ четвертый онъ схватился за связанныя вмѣстѣ лѣстницы.

Ихъ приладили вѣрныя и сильныя руки, но все-таки онѣ качались и постукивали, словно ихъ срывало съ петель. Пять длинныхъ лѣстницъ доставали до самаго гнѣзда и отвѣсно прислонялись къ каменной стѣнѣ; онѣ казались какой-то колеблющейся тростинкой.

Теперь предстояло самое опасное: на эти лѣстницы надо было лѣзть, какъ лезять кошки.

Но Руди какъ разъ это-то и умѣлъ, — вѣдь его этому выучилъ дѣдушкинъ котъ.

Руди не чувствовалъ ни малѣйшаго головокруженія, хотя головокруженіе и лѣзло за нимъ и протягивало къ нему свои полиповыя руки.

Руди стоялъ теперь на верхней ступенькѣ лѣстницы.

Но онъ тутъ же увидалъ, что все-таки онъ еще стоитъ не довольно высоко и не можетъ заглянуть въ орлиное гнѣздо, онъ могъ только достать до него рукой.

Руди попробовалъ, крѣпко ли сидятъ толстыя, переплетенныя между собой нижнія вѣтки, которыя образовали дно въ гнѣздѣ, и, ухватившись за одну крѣпкую вѣтку, прыгнулъ съ лѣстницы, палегъ на эту вѣтку, и вотъ ужъ голова и грудь его надъ гнѣздомъ.

Тутъ его такъ и обдало удушливымъ смрадомъ падали: въ орлиномъ гнѣздѣ лежали ягнята, серны, птицы, которыя ужъ начали загнивать.

Головокруженіе до сихъ поръ ничего не могло сдѣлать съ нимъ, но теперь оно дохнуло ему въ лицо ядовитымъ чадомъ, чтобы отуманить его.

А внизу, въ самой черной зіяющей безднѣ, на быстро мчавшихся водахъ, сидѣла сама Ледяница, съ своими длинными бѣло-зелеными волосами.

Ледяница глядѣла на Руди, глаза ея вперились въ него, какъ два ружейныя дула.

— Теперь-то я поймаю тебя!

Руди увидалъ, что въ одномъ углу гнѣзда сидитъ орленокъ очень большой и сильный, но еще не умѣющій летать.

Руди изо всей силы ухватился одной рукой за вѣтку, а другой ловко забросилъ петлю на орленка.

Орленокъ былъ захваченъ живой, и ноги его были опутаны крѣпкой веревкой.

Руди забросилъ петлю съ птицей на плечо, такъ что птица висѣла гораздо ниже его самого, ухватился за канатъ и спускался по немъ, пока ноги его не дотронулись до верхней ступеньки лѣстницъ.

— Держись крѣпче! Не плошай! Только не воображай, что упадешь, такъ и не свалишься!

Это было старое правило Руди, и онъ послѣдовалъ ему и теперь.

Онъ держался крѣпко, лѣзь, не думаль, что упадетъ, — и не упаль.

Раздались громкіе радостные крики.

Руди стоялъ съ своимъ орленкомъ на твердомъ утесѣ.





VIII.

Что новенькаго разсказала комнатная кошка.

— Вотъ вамъ, чего вы желали!

Это сказалъ Руди, входя къ мельнику въ Бексѣ, и съ этими словами онъ поставилъ на полъ большую корзину, а потомъ снялъ холстину, которой она была покрыта.

Изъ корзины выглянули два желтые глаза съ чернымъ ободочкомъ.

Эти желтые глаза сыпали искрами и глядѣли такъ дико, словно хотѣли прожечь и крѣпко укусить все, на что ни обращались.

Короткій сильный клювъ былъ разинуть, точно готовый вырвать kloekъ мяса, а красная шея усажена молодыми перышками.

— Орленокъ! — вскрикнулъ мельникъ.

Бабета громко ахнула и отскочила назадъ.

Она не могла оторвать глазъ ни отъ Руди ни отъ орленка.

— Ты малый — ничего!.. Тебя не запугаешь! — сказалъ мельникъ.

— А вы теперь ужъ держите свое слово! — сказалъ Руди. — Я исполнилъ, исполняйте и вы, что обѣщали.

— А зачѣмъ ты не сломалъ себѣ шею? — сказалъ мельникъ.

— Не сломалъ потому, что крѣпко держался, — отвѣчалъ Руди. — Да такъ я и впередъ сдѣлаю! Я буду крѣпко держаться за Бабету!

— погоди-ка, погоди: еще какъ ты возьмешь Бабету! — сказалъ мельникъ.

Сказалъ и засмѣялся, а это былъ хорошій знакъ.

И Бабета знала, что знакъ хорошій.

Мельникъ продолжалъ:

— Надо его вынуть изъ корзины. Ишь какъ онъ таращить глазища! Просто страхъ! Да какъ же это ты досталъ-то его?

И Руди долженъ былъ все подробно рассказывать, какъ онъ досталъ, и мельникъ все больше и больше таращилъ глаза.

— Ну, съ твоей смѣлостью и съ твоимъ счастьемъ, ты можешь хоть трехъ женъ прокормить! — сказалъ мельникъ.

— Спасибо вамъ! — вскрикнулъ Руди.

— Конечно, пока тебѣ еще нѣтъ Бабеты! — сказалъ мельникъ шутливо.

И при этомъ ласково потрепалъ по плечу молодого альпійскаго охотника.

— Знаешь послѣднія новости у насъ на мельницѣ? — спросила комнатная кошка у кухонной кошки. — Руди принесъ намъ орленка и беретъ, въ обмѣнъ за него,

Бабету. Они поцѣловались, и старикъ это видѣлъ. Вѣдь это ужъ все равно, что обрученье. Старикъ теперь какъ шелковый; онъ спряталъ всѣ когти, пошелъ послѣ обѣда всхрапнуть, а ихъ оставилъ вдвоемъ. И они все сидѣли вдвоемъ и болтали. Боже! сколько у нихъ разсказовъ другъ для дружки! Они и до Рождества всего не переговарять.

И, въ самомъ дѣлѣ, они не переговорили всего до Рождества.

Вѣтеръ вихремъ крутилъ коричневые листья, снѣгъ мягко усыпалъ, устилалъ и глубокія долины и высокія горы.

Ледяница сидѣла въ своемъ ослѣпительномъ студеномъ замкѣ.

Каменные стѣны утесовъ теперь стояли покрытыя гладкимъ, сверкающимъ льдомъ, и ледяныя сосули, въ дерево толщиною, тяжелыя, какъ слоны, свѣшивались тамъ, гдѣ лѣтомъ развѣваетъ свой водяной вуаль горный ручей; ледяныя гирлянды изъ чудныхъ фантастическихъ кристалловъ тянулись и сверкали надъ напудренными снѣгомъ елями.

Ледяница носилась надъ глубокими долинами на вьющемъ вѣтрѣ.

Снѣжный покровъ разстилался до самаго Бекса.

Ледяница прилетѣла и туда и увидала, что Руди сидитъ на мельницѣ, — эту зиму Руди больше сидѣлъ въ комнатѣ, чѣмъ это бывало съ нимъ прежде.

Да, Руди сидѣлъ у Бабеты. Порѣшено ужъ было, что свадьбу сыграютъ будущимъ лѣтомъ.

Друзья Руди такъ много толковали про это, что ужъ у Руди часто эти толки звенѣли въ ухахъ.

На мельницѣ сіяло солнце и цвѣла самая свѣжая прелестная альпійская роза, — цвѣла веселая, смѣю-

щаяся Бабета, плѣнительная, какъ нарождающаяся весна — та весна, которая заставляетъ всѣхъ птичекъ пѣть про лѣто и про любовь.

— Что жъ это они все торчатъ вмѣстѣ? — говорила комнатная кошка. — Ужъ какъ же мнѣ докучило и надоѣло это мяуканье!





IX.

Л е д я н и ц а .

Весна развернула свои сочныя, зеленыя, свѣжія ревьевъ, и эти гирлянды, волнуясь и блистая, гирлянды изъ орѣховыхъ и каштановыхъ девились отъ Сень-Морисовскаго моста до берега Женевскаго озера, вдоль Роны.

А Рона съ могучей силой мчится отъ своего истока, подъ зеленымъ глетчеромъ, — подъ ледянымъ дворцомъ, гдѣ живетъ Ледяница.

Отсюда-то Ледяница велитъ бурному вѣтру мчать себя на самую высокую снѣжную площадь, и тамъ, при яркомъ солнечномъ свѣтѣ, ложится на снѣжную перину.

И вотъ лежитъ тамъ Ледяница и смотритъ далеко проникающимъ взоромъ внизъ, въ глубокія долины, гдѣ трудолюбиво двигаются и копошатся люди, точно муравьи на камнѣ, облитомъ сверкающими солнечными лучами.

— Дѣти солнца называютъ это *силы духа!* — говоритъ Ледяница. — Черви это, и больше ничего! Скатится снѣжный кубарь, и всѣ вы, со всѣми вашими домами, городами и трудами, раздавлены и стерты!

И Ледяница выше поднимала гордую голову и смотрѣла далеко и зорко своими, сверкающими смертью, глазами.

Но изъ глубокой долины несется вверхъ грохоть, утесы взрываетъ на воздухъ.

Работа рукъ человѣческихъ! Это прокладываютъ путь для тоннеля, для желѣзныхъ дорогъ.

— Это они забавляются въ кротовъ! — говоритъ Ледяница. — Они роютъ подъ землей, и оттого-то шумъ, точно отъ ружейныхъ выстрѣловъ. Но когда я передвигаю свои дворцы, тогда все гремитъ посильнѣй и позвучнѣй этихъ грохотаній!

Изъ глубокой долины поднимается дымъ; этотъ дымъ быстро движется впередъ, какъ летающій вуаль.

Это локомотивъ несетъ поѣздъ по недавно открытой желѣзной дорогѣ.

Издали поѣздъ кажется извивающейся змѣей.

Стрѣлой пролетѣлъ онъ и исчезъ.

— Они играютъ тамъ въ господъ, эти силы духа! — говоритъ Ледяница. — А все-таки силы-то природы повелѣваютъ надъ всѣмъ остальнымъ!

И Ледяница смѣется и поетъ, и въ долинѣ раздается страшный грохоть.

«Вотъ, кажется, лавина!» говорятъ люди.

Но дѣти солнца пѣли еще громче про человѣческую мысль, — про мысль, которая владычествуетъ надо всѣмъ на свѣтѣ, которая запрягаетъ море въ упряжь, передвигаетъ горы, наполняетъ долины; про человѣческую мысль, владычицу даже силъ природы.

Въ ту самую минуту по снѣжному полю, гдѣ сидѣла Ледяница, проходило общество путешественниковъ.

Эти путешественники крѣпко-накрѣпко привязали себя другъ къ дружки веревками, чтобы такимъ обра-

зомъ лучше держаться на скользкой ледяной поверхности на краю бездонныхъ пропастей.

— Черви! — сказала Ледяница, — вы владыки силъ природы, вы!

И Ледяница отвернулась отъ общества и стала злобно глядѣть внизъ, въ глубокую долину, гдѣ съ грохотомъ и шумомъ летѣлъ поѣздъ желѣзной дороги.

— Вотъ тамъ онѣ сидятъ, эти мысли! — говорила Ледяница. — Онѣ сидятъ во власти силъ природы! Я вижу ихъ всѣхъ вмѣстѣ и каждую порознь! Вонъ одна какъ гордо сидитъ! Точно королева! Вонъ сидятъ сколько въ одной конурѣ! А вонъ тутъ половина спитъ! А когда огненный драконъ остановится, всѣ онѣ выльзуютъ вонъ и ѣдутъ по своимъ дорогамъ! И такъ мысли расходятся по міру!

И Ледяница засмѣялась.

— Вотъ опять катится лавина! — говорили внизу, въ глубокой долинѣ.

— Насъ-то она не достанетъ! — сказали двое, которые сидѣли на спинѣ огненнаго дракона, какъ говорится, два орѣшка подъ одной скорлупой.

То были Руди и Бабета.

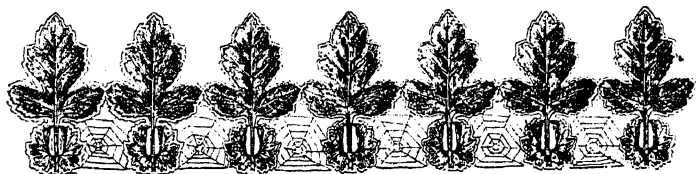
Мельникъ тоже былъ съ ними.

— Я вмѣсто багажа! — говорилъ мельникъ. — Я тутъ на прибавочку!

— Вонъ они оба тамъ сидятъ! — сказала Ледяница. — Много сериъ я раздавила, много я смяла и раздавила альпійскихъ розъ, даже и корней-то не щадила! Я сомну и раздавлю и ихъ, эти мысли, эти силы духа!

И Ледяница засмѣялась.

— Вонъ опять лавина катится, — говорили въ глубокой долинѣ.



V.

Крестная мать.



ородокъ Монтре, вмѣстѣ съ Кларансомъ, Берне-
емъ и Крїйномъ, образуютъ гирлянду вокругъ
сѣверо-восточной части Женевскаго озера.

Въ этомъ-то городкѣ Монтре жила крестная мать
Бабеты, знатная англійская леди, съ своими двумя
дочерьми и съ молодымъ родственникомъ.

Крестная мать Бабеты прїѣхала сюда недавно, но
мельникъ ужъ успѣлъ у нея побывать и рассказалъ
ей про Бабетову помолвку, про Руди и про орленка и
про поѣздку въ Интерлакенъ, — однимъ словомъ, мель-
никъ рассказалъ подробно всю исторію, и исторія всѣмъ
очень понравилась и очень всѣхъ заинтересовала въ
пользу Руди и Бабеты, а также, разумѣется, и въ
пользу мельника.

И вотъ всѣ трое, мельникъ, Руди и Бабета, должны
были прїѣхать въ гости къ крестной матери, и всѣ
трое прїѣхали.

Бабетѣ надо было повидать крестную мать, а крест-
ной матери надо было повидать Бабету.

Около маленькаго городка Вилльнева, при Женевскомъ озерѣ, стоялъ пароходъ, который подвозить какъ разъ подъ Монтре.

Берегъ этотъ воспѣтъ поэтами.

Туть, у глубокаго зелено-голубого озера, подъ орѣховыми деревьями, спживалъ Байронъ и писалъ свои мелодическіе стихи про узника въ мрачномъ Шильонскомъ замкѣ.

Тамъ, гдѣ Кларансъ съ своими плакучими ивами, смотрится въ прозрачныя воды, бродилъ Руссо, предаваясь мечтамъ объ Элонзѣ.

Рона мчитъ свои зеленныя волны подъ высокими снѣговыми горами Савойи, и туть, неподалеку отъ ея истока, лежитъ на озерѣ маленькій островокъ.

Островокъ этотъ — просто скала, которую какая-то богачка лѣтъ сто тому назадъ велѣла обложить камнями, усыпать землей и посадить на ней три акаціи.

Теперь эти акаціи даютъ уже тѣнь на весь островокъ.

Бабетѣ чрезвычайно понравилось это мѣстечко; оно показалось ей лучше всего, что ни встрѣчалось имъ по пути.

— Надо бы туда съѣздить! — говорила Бабета. — Тамъ, должно-быть, чудо какъ хорошо.

Но пароходъ проплылъ милю и остановился, какъ и всегда останавливался, у Бернея.

Маленькое общество отправилось въ гору.

Дорожка вилась между бѣлыми, облитыми солнцемъ, стѣнами, которыми огорожены виноградники въ горномъ городкѣ Монтре, гдѣ крестьянскіе домики ютятся подъ тѣнью фиговыхъ деревьевъ, и гдѣ лавры и кипарисы растутъ по садикамъ.

На половинѣ дороги въ гору стояла гостиница, гдѣ жила крестная мать Бабеты.

Приемъ былъ самый радушный, самый сердечный.

Крестная мать была прелюбезная дама съ круглымъ, улыбающимся лицомъ.

Вѣроятно, въ дѣтствѣ ея головка была очень похожа на Рафаэлевскія ангельскія головки, но теперь она посѣдѣла, и ласковое лицо обрамлялось густыми, серебристыми локонами.

Ея дочери были аккуратныя, тонкія, длинныя и стройныя дѣвѣнцы; а молодой двоюродный братъ, который у нихъ гостилъ, былъ весь одѣтъ въ бѣлое; волосы у него были золотистые, бакенбарды — тоже золотистые и такіе огромные, что одной стало бы на трехъ человѣкъ.

Молодой джентльменъ тотчасъ же принялся ухаживать за Бабетой.

По большому столу были разбросаны книги въ богатыхъ переплетахъ. Балконная дверь была отворена на чудесное, голубое, далеко-далеко разстилавшееся озеро, и озеро это было такъ неподвижно и тихо, что Савойскія горы со всѣми своими городами, лѣсами и снѣжными вершинами отчетливо-преотчетливо въ немъ перекидывались.

Всегда смѣлый, живой и веселый, Руди чувствовалъ себя здѣсь какъ-то очень неловко. Онъ двигался, точно на гладкомъ полу, былъ разсыпанъ вездѣ горохъ.

Какъ скучно тянулось время! Какъ долго оно показалось!

«Я точно бѣлка въ колесѣ», думалъ Руди.

А тутъ еще господа повели ихъ гулять!

Прогулка была точно такая же скучная и несносная.

Руди дѣлалъ два шага впередъ и одинъ назадъ, чтобы итти въ шагъ съ другими.

Они, разумѣется, пошли гулять прямо къ Шильону, къ мрачному, старому замку на утесистомъ островѣ; пошли осматривать орудія пытки, темницу, заржавленные цѣпи въ скалистыхъ стѣнахъ, каменные лопаты для приговоренныхъ къ смерти и подъемныя двери, черезъ которыя этихъ несчастныхъ спихивали въ воду на острые желѣзные колья.

Посмотрѣть на все это господа называли удовольствіемъ.

Это лобное мѣсто было для нихъ возведено въ міръ поэзіи пѣснями лорда Байрона.

Руди былъ простой человѣкъ, и потому онъ тутъ чувствовалъ только одно, а именно, что это мѣсто казни.

Онъ облокотился на одно большое каменное окно и глядѣлъ на глубокую голубовато-зеленую воду и на маленькій островокъ съ тремя акаціями.

Ему хотѣлось туда, на свободу, отъ всего этого болтливаго господскаго общества.

Но Бабета была весела необыкновенно.

— Мнѣ очень весело, — говорила она.

Двоюродный братецъ съ золотистыми бакенбардами былъ, по ея мнѣнію, просто совершенство.

— Да, онъ самый совершенный болванъ, какого только я видѣлъ, — сказалъ Руди.

И въ первый разъ Бабетѣ не понравилось то, что Руди сказалъ.

Англичанинъ подарилъ Бабетѣ маленькую книжечку на память о Шильонѣ, — это была Байронова поэма «Шильонскій узникъ».

Поэма была переведена по-французски, такъ что Бабета могла ее читать.

— Можетъ-быть, книга и хороша, — сказалъ Руди, — но мнѣ не нравится прилизанный франтъ, который ее тебѣ далъ.

— Онъ точно мучной мѣшокъ безъ муки, — сказалъ мельникъ.

Сказалъ и засмѣялся своей остротѣ.

Руди тоже смѣялся и подтвердилъ, что джентльмень именно такимъ и смотреть.





XI.

Двоюродный братецъ.



Нѣсколько дней спустя послѣ того, какъ ѣздили въ гости къ крестной матери въ Монтре, Руди пришелъ на мельницу и встрѣтилъ тамъ молодого англичанина.

Бабета только что собиралась подать ему варенныя форели, которыя, вѣрно, она сама такъ искусно обложила петрушкой, чтобы онѣ смотрѣли аппетитнѣе.

Только этого бы совсѣмъ дѣлать не слѣдовало.

Чего тутъ нужно англичанину? Чего ему тутъ дѣлать? Чего ему хочется? Чтобы Бабета угощала его и любезничала съ нимъ?

Руди ревноваль.

А это-то и тѣшило и забавляло Бабету.

Бабетѣ было весело узнать всѣ струнки его сердца, и сильныя и слабыя. Для Бабеты любовь была еще игрушкой, и она играла сердцемъ Руди.

Но надо прибавить, что въ то же время Руди для нея былъ все ея счастье, вся ея жизнь, что Руди былъ ея постоянною мыслию, ея постоянною радостію.

Но чѣмъ мрачнѣе становился взглядъ Руди, тѣмъ веселѣе смѣялись глаза Бабеты; она была готова просто-напросто поцѣловать бѣлокурого англичанина съ золотыми бакенбардами, если только этимъ можно привести въ бѣшенство Руди и заставить его опрометью выбѣжать вонъ.

Вѣдь это-то именно и показало бы ей, насколько Руди ее любить.

Разумѣется, это было нехорошо со стороны Бабеты, но вѣдь Бабетѣ было всего девятнадцать лѣтъ.

Она разсуждала очень мало, и ей совѣмъ не приходило въ голову, что молодой англійскій джентльменъ, пожалуй, назоветъ ея поведеніе легкимъ и объяснить его, какъ вовсе не пристало честной дѣвушкѣ-невѣстѣ.

Недалеко отъ быстрого потока, который пѣнился мутно-бѣлыми волнами, точно взбитая мыльная вода, тамъ, гдѣ большая дорога проходитъ подъ снѣжной утесистой вершиной, которую въ простонародьи называютъ въ тамошнихъ мѣстахъ Дьябльретъ, стояла мельница.

Но не этотъ мутно-бѣлый потокъ приводилъ въ дѣйствиіе мельницу: большое колесо ворочаль другой потокъ, что подалѣе утеса, по другую сторону рѣки.

Этому послѣднему потоку еще большую силу придавала запиравшая его каменная плотина, и онъ лился черезъ бурную рѣку по бревенчатому бассейну — по широкому желобу.

Этотъ желобъ былъ до того полонъ воды, что вода изъ него выливалась и представляла сырую и скользкую дорогу тому, кому бы вздумалось по ней пробираться на мельницу кратчайшимъ путемъ.

Вотъ именно такая-то фантазія и пришла одному молодому человѣку — англичанину.

Одѣтый съ ногъ до головы въ бѣлое, словно батракъ на мельницѣ, онъ полѣзъ сюда позднимъ вечеромъ, держась огонька, свѣтившагося въ Бабетиной комнатѣ.

Но лазить молодой англичанинъ не учился, и потому чуть-чуть не кувырнулъ вверхъ ногами въ рѣку.

Но, по счастью, онъ отдѣлался мокрыми рукавами и панталонами.

Мокрый, перепачканный тиной и грязью, пришелъ онъ подъ Бабетино окошко, постоялъ, потомъ взлѣзъ на старую липу и принялся кричать по-совиному, — никакого другого птичьяго крика онъ не умѣлъ перенять.

Бабета услышала и выглянула изъ тонкой оконной занавѣски.

Но когда она увидала бѣлаго человѣка и догадалась, кто онъ такой, сердце ея забилося отъ страху, а также и отъ гнѣва.

Она проворно погасила свѣчу, попробовала, всѣ ли задвижки на окнахъ крѣпко заперты и предоставила молодому герою кричать и аукать, сколько его душѣ угодно.

Будь Руди теперь на мельницѣ, это было бы ужасно! Но Руди не былъ на мельницѣ, — нѣтъ, хуже того!

Руди стоялъ какъ разъ подъ липой, подъ самой той липой, на которой кричалъ по-совиному молодой джентльменъ.

Вотъ слышится крупный разговоръ, сердитыя слова!..

Выйдетъ, пожалуй, драка... Случится, пожалуй, убійство...

Бабета въ страшномъ испугѣ отворила окно, громко окликнула Руди и стала его просить, чтобы онъ ушелъ.

— Я не хочу, чтобы ты тутъ оставался, — говорила она.

— Не хочешь, чтобы я тутъ оставался?—вскрикнулъ Руди. — А! такъ, значить, вы уговорились! Ты поджидаешь друзей получше меня! Стыдно тебѣ, Бабета, стыдно!..

— Ты... ты противный!—вскрикнула Бабета. — Я тебя не люблю!.. Я тебя терпѣть не могу!..

Бабета заплакала.

— Ступай! ступай!

— А! вотъ какъ! Я не заслужилъ этого!

И Руди пошелъ прочь. Щеки у него горѣли, какъ огонь, а сердце горѣло пожарче всякаго огня.

Бабета кинулась на свою кровать и зарыдала.

— Я тебя такъ люблю, Руди, а ты можешь такъ жестоко со мной обращаться! Ты можешь такъ дурно обо мнѣ думать!

И Бабета просто-напросто изъ себя выходила съ сердцовъ.

И это было очень для нея хорошо, потому что иначе она могла бы ужъ очень огорчиться.

А теперь она порыдала и уснула, и спала крѣпкимъ сномъ здоровья и молодости.



ХІІ.

З л ы а с и л ы .



Руди ушелъ изъ Бекса.

Онъ отправился домой, поднялся на горы, гдѣ лежалъ снѣгъ, гдѣ царствовала Ледяница.

Холодный воздухъ нѣсколько освѣжилъ его пылающія щеки.

Подъ нимъ, глубоко внизу, стоялъ мертвенный лѣсъ, и отсюда, сверху, деревья представлялись картофельной травой, а ели и кустарники были еще меньше здѣсь, наверху.

Альпійскія розы цвѣли рядомъ съ снѣгомъ, а снѣгъ лежалъ разрозненными полосами, какъ полотно, разостланное бѣлиться.

Руди раздавилъ ружейнымъ прикладомъ голубую горечавку, попавшуюся ему по пути.

Еще выше по горѣ показались двѣ серны.

Глаза у Руди заблестали, и мысли его тотчасъ же вдругъ приняли другое направленіе.

Но онъ стоялъ слишкомъ далеко отъ серны и на такомъ разстояніи попасть не было возможности.

Руди взобрался повыше, взобрался туда, гдѣ между каменными глыбами растеть только одна жесткая трава.

Серны преспокойно разгуливали по снѣжному полю.
Руди прибавилъ шагу.

Туманъ низко-низко опускался вокругъ него.

Вдругъ онъ очутился передъ снѣжно-каменной стѣной.

Дождь началъ лить ливмя.

Руди чувствовалъ жгучую, мучительную жажду, жаръ въ головѣ, холодъ во всѣхъ членахъ.

Онъ схватился за свою охотничью фляжку, но фляжка была пуста.

Онъ не подумалъ ее наливать водою, когда бросился въ горы.

Руди никогда прежде не былъ боленъ, но теперь онъ именно чувствовалъ что-то болѣзненное.

Онъ усталъ, ему непреодолимо хотѣлось лечь, его клонило ко сну.

Но дождь лилъ ливмя, нигдѣ не было сухого мѣстечка.

Руди старался прибодриться, собраться съ мыслями и съ силами.

Странно, какъ-то очень странно дрожали и плясали всѣ предметы у него передъ глазами.

Тутъ Руди вдругъ увидалъ то, чего никогда прежде не видалъ на этомъ мѣстѣ.

Онъ увидалъ низенькій домикъ, прислоненный къ утесу.

Въ дверяхъ этого домика стояла молодая дѣвушка.

Руди показалось, что это дочь школьнаго учителя Аннета, та самая Аннета, которую онъ разъ поцѣловалъ въ танцахъ.

Но это была не Аннета.

Однако онъ эту дѣвушку когда-то и гдѣ-то ужъ видѣлъ.

Кажется, онъ видѣлъ ее на Гриндельвальдѣ, въ тотъ вечеръ, когда онъ возвращался домой изъ Интерлакена съ праздника стрѣлковъ.

— Какъ ты сюда попала? — спросилъ Руди.

— Я здѣсь дома. Я тутъ пасу свое стадо.

— Пасешь стадо? Да гдѣ же твое стадо? Гдѣ оно пасется? Здѣсь только снѣгъ да голые утесы!

— Много ты знаешь, что здѣсь есть! — сказала дѣвушка и засмѣялась. — Вотъ тутъ, за нами, пониже, чудесное пастбище. Тамъ пасутся мои козы. Я ихъ пасу очень заботливо. У меня ни одной не пропадетъ! Ужъ что мое, такъ то моимъ и останется!

— Ты очень храбрая! — сказалъ Руди.

— Да и ты тоже! — отвѣтила дѣвушка.

— Есть у тебя дома молоко? Коли есть, такъ дай мнѣ, пожалуйста, напиться. Меня мучитъ нестерпимая жажда.

— У меня есть кое-что получше молока, — отвѣчала дѣвушка, — и я тебя этимъ угощу. Вчера были здѣсь путешественники съ проводникомъ и забыли полбутылки вина, — ты такого вина отроду не отвѣдывалъ. Эти путешественники ужъ больше не придутъ, я вина не пью, такъ пей его ты.

И дѣвушка вынесла вино, налила его въ деревянную чашку и подала Руди.

— Ну, вино! — сказалъ Руди. — Это не вино, а просто огонь! Правда, я отроду такого не пилъ! Въ жаръ кинуло! Чудесное вино.

И глаза у Руди заблестѣли, все его существо наполнила такая жизнь, такой огонь, словно на свѣтѣ и не существовало никакого горя, никакихъ заботъ, ни кручинъ.

Свѣжая, сильная, кипучая человѣческая натура заговорила въ немъ.

— Да вѣдь ты Аннета! — вскрикнулъ Руди. — Ну, поцѣлуй же меня.

— Поцѣлую, только ты прежде отдай мнѣ вотъ это чудесное кольцо, что у тебя на пальцѣ!

— Отдать тебѣ мое обручальное кольцо?

— Да, отдай твое обручальное кольцо! — сказала дѣвушка.

Она опять налила вина въ деревянную чашку, поднесла къ его губамъ, и онъ выпилъ.

Какая-то необычайная, жизненная, ягучая радость разлилась во всей его крови:

«Весь міръ принадлежитъ мнѣ! — думалъ онъ. — О чемъ тужить? Все создано только на то, чтобы мы наслаждались, чтобы мы были счастливы, чтобы мы упивались блаженствомъ».

Потокъ жизни — вѣдь это потокъ радости! Когда этотъ потокъ несетъ, когда онъ увлекаетъ — вотъ блаженство!

Онъ посмотрѣлъ на молодую дѣвушку.

Это была Аннета, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не Аннета.

Но еще менѣе тотъ ледяной призракъ, то привидѣніе, какъ онъ называлъ, которое ему встрѣчалось у Гриндельвальда.

Нѣтъ, это вовсе не привидѣніе! Эта дѣвушка была свѣжа, какъ бѣлый, сверкающій снѣгъ, пышна и розова, какъ альпійская роза, ловка и быстронога, какъ молодая козочка.

Но все-таки она была сотворена изъ Адамова ребра, все-таки она была плоть и кровь, какъ и Руди.

И Руди обнялъ красавицу, и глядѣлъ въ ея чудесно-ясные глаза.

Онъ поглядѣлъ на нее всего одно мгновеніе, но въ это мгновеніе,—кто объяснить это или расскажетъ словамъ!—его охватила жизнь духа или смерти, его уносило въ вышину, низвергало въ бездну, въ глубокую, смертельную, ледяную бездну — все глубже, глубже, глубже...

Онъ видѣлъ ледяныя стѣны точно изъ голубовато-зеленаго стекла, кругомъ сіяли безконечныя, бездонныя пропасти, и вода, точно со звономъ колокольчиковъ, капала внизъ, — вода чистая, какъ жемчугъ, свѣтлая, ледяная, блистающая голубовато-бѣлымъ пламенемъ.

Ледяница поцѣловала Руди, и этотъ поцѣлуй прошелъ по немъ ледянымъ холодомъ, отъ затылка до лба; изъ груди у него вырвался мучительный, болѣзненный крикъ: онъ вырвался, зашатался, въ глазахъ у него померкло, вѣжды сомкнулись.

Но вотъ глаза его снова открылись.

Злые силы сыграли съ нимъ штуку.

Исчезла альпійская дѣвушка, исчезла призрачная хижина, все исчезло.

Вода струилась съ голыхъ стѣнъ утесовъ, кругомъ лежалъ вездѣ снѣгъ. Руди дрожалъ отъ холода.

Онъ промокъ до костей; его, что называется, пронизало насквозь, и онъ потерялъ кольцо, обручальное кольцо, которое дала ему Бабета.

Ружье его лежало подлѣ, въ снѣгу.

Руди его поднималъ, хотѣлъ выстрѣлить, но ружье дало осѣчку.

Влажныя тучи висѣли въ ущельи, словно тяжелыя снѣжныя массы.

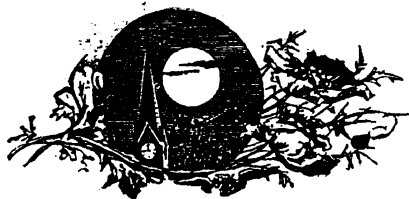
Тамъ сидѣло головокруженіе и подстерегало измученную, выбившуюся изъ силъ жертву.

А внизу, въ глубокой пропасти, такъ шумѣло и гудѣло, точно падалъ утесъ, раздробляя и разрывая все, что ни встрѣчалось ему по пути.

А на мельницѣ сидѣла Бабета и плакала.

Руди не былъ ужъ цѣлыхъ шесть дней.

Виновный Руди, который долженъ бы просить у нея прощенія, Руди, котораго она любила всею сердцею!





ХІІІ.

На мельницѣ.

— Что за чудачки эти люди, что за сумасброды! — говорила комнатная кошка кухонной кошкѣ. — Вотъ они теперь ужъ и врозь, эти шальные Руди и Бабета! Она сидитъ плачетъ, а онъ ужъ о ней и думать забылъ.

— Это мнѣ вовсе не нравится! — сказала кухонная кошка.

— Да и мнѣ тоже не нравится, — отвѣчала комнатная кошка, — но я не намѣрена принимать этого близко къ сердцу! Бабета вѣдь можетъ обручиться съ другимъ, съ тѣмъ рыжебородымъ. Однакожъ и онъ къ намъ не заглядываетъ съ тѣхъ поръ, какъ лѣзь тогда на крышу.

Злые силы такъ и юлятъ и вокругъ насъ и внутри насъ.

Руди испытывалъ это и, кромѣ того, много объ этомъ думалъ и размышлялъ.

Что такое происходило вокругъ него и внутри его тамъ, на высокихъ горахъ?

Что это былъ призракъ или лихорадочный бредъ?

У него никогда не бывало лихорадки и никакой другой болѣзни.

Сначала Руди принялся, разумѣется, судить Бабету, но потомъ заглянулъ и въ самогò себя.

Онъ напалъ на слѣдъ дикой охоты горячаго пламени въ своемъ сердцѣ.

Могъ онъ во всемъ этомъ покаяться Бабетѣ, могъ онъ повѣрить ей каждую мысль, которая въ минуту искушенія могла бы перейти въ дѣло?

Онъ потерялъ кольцо Бабеты, и черезъ эту потерю Бабета именно и приобрѣла снова его самого.

Могла ли Бабета все рассказать ему?

Сердце у Руди словно готово было лопнуть, когда онъ думалъ о Бабетѣ.

Сколько, Боже, сколько воспоминаній поднималось!

Онъ видѣлъ ее, какъ она стоитъ передъ нимъ, словно живая, и какъ она смѣется, точно шаловливое дитя.

Многія милыя слова, которыя она ему говорила отъ полноты своего сердца, проникали въ его грудь, какъ теплые, ясные, животворные солнечные лучи.

И скоро все въ его сердцѣ превратилось въ одно солнечное сіянье и блескъ при мысляхъ о Бабетѣ.

Да, Бабета все можетъ ему рассказать.

И Бабета расскажетъ!

Руди пошелъ на мельницу.

Исповѣдь началась поцѣлуемъ, а кончилась тѣмъ, что Руди же остался въ грѣшникахъ.

Онъ былъ ужасно виноватъ тѣмъ, что могъ хоть на мгновение ока усомниться въ вѣрности Бабеты.

Господи! Да это было просто-напросто отвратительно съ его стороны! Такое недовѣріе, такая вспыльчивость могли сдѣлать ихъ на всю жизнь несчастными.

И по этому случаю Бабета прочитала Руди маленькую проповѣдь. Проповѣдь эта ее же самое забавляла и чудо какъ шла къ ней.

Однакожь въ одномъ Руди былъ правъ, это въ томъ, что племянникъ Бабетиной крестной матери былъ совершенный болванъ.

Бабета тотчасъ же хотѣла сжечь книжку, которую онъ ей подарилъ.

Бабетѣ не надо ничего, никакой крошки, никакой капли, которая бы его напоминала.

— Ну, теперь все горе прошло! — сказала комнатная кошка. — Руди опять здѣсь, и опять они разговариваютъ и понимаютъ другъ друга, а это самое большое счастье, по ихъ словамъ.

— Я нынче ночью слышала отъ крысъ, что самое большое счастье, это когда можно грызть сальные свѣчи и когда есть вдоволь прогорклаго свиного жиру, — сказала кухонная кошка. — Кому же тутъ вѣрить? Крысамъ или влюбленнымъ?

— Да ни тѣмъ ни другимъ, — отвѣчала комнатная кошка. — Это, я скажу тебѣ, будетъ вѣрнѣе!

Самое большое счастье Руди и Бабеты, самый свѣтлый и лучший день, какъ они его называли, день ихъ свадьбы, былъ уже недалеко.

Но рѣшено было справлять свадьбу не на мельницѣ и не въ Бексѣ.

Бабетина крестная мать желала, чтобы свадьбу праздновали у нея, и чтобы Бабету и Руди повѣнчали въ хорошенькой маленькой церковкѣ, въ Монтре.

Мельникъ настоялъ на томъ, чтобы желаніе крестной матери было исполнено, — мельникъ зналъ, что крестная мать назначила новобрачнымъ свадебный подарокъ, который стоилъ того, чтобы угодить ей.

Назначили день свадьбы.

Они еще наканунѣ вечеромъ собрались ѣхать въ Вилльневъ, чтобы на другое утро, какъ можно пораньше, переѣхать въ Монтре.

Иначе дочери крестной матери не успѣютъ убрать, какъ слѣдуетъ, голову невѣсты.

— Вѣдь послѣ и у насъ дома будетъ свадебная пирушка, — говорила комнатная кошка. — А коли не будетъ... такъ вся эта исторія не стоитъ и одного мяу.

— Пировать - то здѣсь, навѣрное, ужъ будутъ, — сказала кухонная кошка. — Бьютъ утокъ, готовятъ голубей и цѣлая дикая коза вонъ виситъ на стѣнѣ. У меня текутъ слюнки, какъ я объ этомъ подумую! Завтра они ѣдутъ?

— Да, завтра!

Въ этотъ вечеръ Руди и Бабета въ послѣдній разъ сидѣли на мельницѣ женихомъ и невѣстой!

Альпы такъ и горѣли алымъ заревомъ, вечерніе колокола звонили, дочери солнца пѣли:

— Да свершится все лучшее!





XIV.

Ночныя грезы.



Солнце зашло. За высокія горы надъ Ронской долиной спускались тучи, вѣтеръ дулъ съ юга. Вѣтеръ съ юга, африканскій вѣтеръ, ходилъ поверхъ высокихъ Альповъ, разрывалъ облака, а когда потомъ спадалъ, снова становилось на минуту совершенно тихо.

Разорванныя облака висѣли фантастическими узорами надъ горами, густо поросшими лѣсомъ, и надъ быстрой Роной.

Они висѣли то въ образѣ морскихъ чудовищъ допотопнаго міра, то въ видѣ парящихъ въ воздухѣ орловъ, то въ формѣ скачущихъ по болоту лягушекъ; они опускались надъ быстрой рѣкой, плыли по ней и въ то же самое время плыли по воздуху.

Рѣка мчала вырванныя съ корнемъ ели, а по водѣ ходили вертящіяся круги.

То было головокруженіе, да еще и не одно, а нѣсколько ихъ вмѣстѣ крутились на шумящей рѣкѣ.

Мѣсяцъ ясно освѣщалъ снѣга на горныхъ вершинахъ, ясно освѣщалъ темные лѣса и бѣлыя облака, ночныя видѣнья и духовъ.

Горный житель видѣлъ эти видѣнья сквозь оконные ставни, какъ они летѣли цѣлыми роями впереди Ледеяницы.

А Ледеяница выплыла изъ своего глетчера на хрупкомъ кораблѣ — на несущейся по водамъ ели.

Ледеяница мчалась внизъ по рѣкѣ къ открытому морю.

— Ъдутъ гости на свадьбу! Ъдутъ гости на свадьбу! — шумѣло и пѣло, гремѣло и звенѣло въ водѣ и въ воздухѣ.

Бабетѣ приснился въ эту ночь удивительный сонъ.

Ей снилось, что она замужемъ за Руди и ужъ давно замужемъ — много лѣтъ. Онъ на охотѣ за сернами, а она одна дома, и сидитъ будто бы у нея молодой англичанинъ, тотъ, что съ золотистой бородой. Глаза англичанина говорили такъ убѣдительно, и въ словахъ его была какая-то волшебная сила, такъ что, когда онъ ей протянулъ руку, она невольно пошла за нимъ.

Они вышли вмѣстѣ изъ дому, все идутъ да идутъ, а у Бабеты все тяжелѣе да тяжелѣе на сердцѣ. Она чувствовала, что это грѣхъ противъ Руди, но ее непреодолимо влекло, и она шла.

Вдругъ она осталась одна, покинутая; все платье ея было изорвано объ шипы, волосы посѣдѣли.

Въ горѣ своею она глянула вверхъ и на краю утеса увидала Руди.

Она протянула къ нему руки, но не посмѣла его окликнуть.

Да и не къ чему было окликать: она тутъ же увидала, что это былъ не самъ Руди, а только его охотничій кафтанъ и шляпа, которые висѣли на альпійской палкѣ, какъ ихъ вѣшаютъ охотники, чтобы подманить сернь.

Въ безпредѣльной скорби Бабета простионала:

— Охъ, зачѣмъ я не умерла въ день моей свадьбы, въ самый счастливый день! Боже мой, Боже! Отчего я тогда не умерла! Это было бы великое счастье! Это было бы самое лучшее для меня и Руди! Кто знаетъ свое будущее!

И, обезумѣвъ отъ этой скорби, Бабета кинулась внизъ, въ глубокую пропасть.

Бабета проснулась. Сонъ исчезъ и изгладился изъ ея памяти. Она помнила только, что ей грезилось что-то страшное и молодой англичанинъ съ золотистой бородой, котораго она уже нѣсколько мѣсяцевъ не видала, и про котораго она совсѣмъ не думала.

Пожалуй, еще этотъ англичанинъ въ Монтре? Тогда, значить, она увидить его на свадьбѣ.

Легкая тѣнь скользнула по Бабетиному личику, ротикъ сжался, бровки нахмурились.

Но скоро опять показалась улыбка на губахъ, опять въ глазахъ засвѣтились радостные лучи.

Солнце такъ чудесно свѣтило на дворѣ, а завтра ея свадьба съ Руди.

Когда она вошла въ горницу, Руди уже былъ тамъ, и скоро всѣ они отправились въ Вилльневъ.

Оба они были такъ счастливы, что и не расскажешь словами. Мельникъ тоже былъ счастливъ; онъ былъ въ наичудеснѣйшемъ расположеніи духа; онъ смѣялся, шутилъ и просто-напросто сиялъ радостью.

— Ну, теперъ ужъ мы здѣсь въ домѣ господѣ! — сказала комнатная кошка.



XV.

К о н е ц ь .



Вечеръ еще не наступилъ, а ужъ трое веселыхъ людей прибыли въ Вилльневъ и тамъ пообѣдали.

Мельникъ послѣ обѣда сѣлъ въ кресло, закурилъ трубочку и вздремнулъ.

Женихъ съ невѣстой отправились подъ руку гулять за городъ.

Они шли по дорогѣ надъ утесами, которые сплошь заросли кустарникомъ, вдоль по берегу зелено-голубого озера.

Мрачный замокъ Шильонъ перекидывалъ свои сѣрыя стѣны и тяжелыя башни въ прозрачныхъ водахъ, а маленькій островокъ съ тремя акаціями, казалось, былъ еще ближе.

Этотъ маленькій островокъ представлялся точно букетъ на озерѣ.

— Тамъ, должно-быть, чудо какъ хорошо! — сказала Бабета. — Тамъ, должно-быть, прелестно!

Ей опять ужасно захотѣлось попасть на островокъ.

Это желаніе можно было тотчасъ же исполнить, и они его исполнили.

У берега стояла лодочка, и веревку, которой лодочка эта была привязана, ничего не стоило отвязать.

Ни единой души нигдѣ поблизости не было видно, не у кого было попросить позволенія съѣздить въ этой лодочкѣ.

Нечего дѣлать, не у кого, такъ и не у кого, — приходится, значить, обойтись безъ спросу.

Они недолго разсуждали, отвязали лодочку и поплыли.

Руди умѣлъ грести.

Весла врѣзывались въ послушную воду, — въ такую покорную и вмѣстѣ такую сильную воду.

У воды есть хребетъ, на которомъ она носить пасть, — пасть, которой она поглощаетъ.

Пасть эта улыбается кротко, она, можно сказать, сама мягкость, но все-таки наводитъ страхъ, и силъ у нея хватить, чтобы тебя раздавить.

Пѣнящійся слѣдъ вился за лодочкой, и лодочка въ нѣсколько минутъ доплыла съ женихомъ и невѣстой до островка.

Женихъ и невѣста вышли на берегъ.

Островокъ былъ очень малъ. Тутъ было мѣста всего на все столько, чтобы на немъ протанцовать въ одну пару.

Руди протанцовалъ съ Бабетой круга два-три, а потомъ они взялись за руки, сѣли на маленькую ска-

меечку подъ развѣсистыми акаціями и смотрѣли другъ дружку въ глаза.

А кругомъ все было залито золотисто-розовыми блестками заката.

Еловые лѣса на горахъ окрасились багряно-лиловымъ цвѣтомъ, какъ степная трава, а гдѣ кончался лѣсъ и выступалъ уже камень, тамъ онъ горѣлъ, словно утесы были совсѣмъ прозрачные.

Облака на небѣ свѣтились точно красный огонь, а все озеро было похоже на свѣжіій, пылающій, розовый листокъ.

Понемногу на покрытыя снѣгомъ Савойскія горы начали опускаться тѣни и мало-по-малу накладывали на нихъ темно-синія краски.

Но самая верхушка пылала точно раскаленная лава.

Руди и Бабетѣ казалось, что еще никогда они не видывали такого зарева на Альпахъ.

«Южный Зубъ», покрытый сіяющими снѣгами, блестѣлъ, какъ кругъ полнаго мѣсяца, когда мѣсяцъ выплываетъ на горизонтѣ.

— Что за красота вездѣ! Что за счастье повсюду!— говорили они оба.

— Да, земля ужъ ничего больше не можетъ мнѣ дать!— сказалъ Руди.— Такой вечеръ, какъ вотъ сегодня, стоитъ цѣлой жизни! Какъ часто я чувствовалъ свое счастье, какъ вотъ чувствую его теперь, и думалъ: «Что ужъ тутъ дѣлать! Теперь всему долженъ быть конецъ! А все-таки какъ я пожилъ! Какъ я блаженно пожилъ! Экая прелесть этотъ міръ! Экое чудо!» Но день проходилъ и начинался другой, и мнѣ казалось, что этотъ другой еще лучше, еще блаженнѣе перваго!

— Я счастлива! Я совершенно всѣмъ сердцемъ моимъ счастлива!— говорила Бабета.

— Мнѣ больше нечего желать на землѣ! — вскрикнулъ Руди.

Вечерніе колокола звонили съ Савойскихъ горъ, темно-синяя цѣпь Юры поднималась въ золотомъ сіяніи.

— Дай тебѣ Богъ всего хорошаго, всего добраго! — сказала Бабета.

— Дастъ! — отвѣчалъ Руди. — Завтра у меня все будетъ! Завтра ты будешь моей! Завтра ты будешь моя собственная, милая, дорогая, безцѣнная женочка!

Вдругъ Бабета вскрикнула:

— Лодка!

Лодка, на которой они приплыли къ острову, и на которой должны были отплыть въ обратный путь, оторвалась и понеслась прочь отъ островка.

— Я ее поймаю! — сказалъ Руди.

Онъ сбросилъ съ себя кафтанъ, снялъ сапоги, прыгнулъ въ озеро и бодро, шибко пустился вплавать за лодкой.

Глубока и студена была прозрачная, голубовато-зеленая вода съ горныхъ глетчеровъ.

Руди глянулъ внизъ, въ свѣтлыя волны, и ему показалось, что вотъ-вотъ катится тамъ золотое кольцо.

Катится золотое кольцо и блеститъ, и сверкаетъ, и искрится.

Руди вспомнилось его обручальное кольцо, — то кольцо, что онъ потерялъ тамъ, на высокихъ горахъ.

А кольцо становилось все больше да больше, кольцо начинало передъ нимъ летать какимъ-то сверкающимъ кругомъ, и сквозь этотъ кругъ свѣтился хрустальный, прозрачный глетчеръ.

А кругомъ зіяли черныя, бездонныя пропасти, вода капала со звономъ, точно съ колокольчиками, и блистала голубовато-бѣлымъ огнемъ.

Въ одинъ мигъ онъ увидалъ то, что мы должны рассказывать многими словами.

Молодые охотники и молодая дѣвушка, мужчины и женщины, всѣ, которые провалились въ бездны глетчера, стояли тутъ живые, уста ихъ смѣялись, глаза блестѣли.

А глубоко внизу трезвонили колокола всѣхъ провалившихся городовъ, сель и деревушекъ. Прихожане стояли на колѣняхъ подъ церковными сводами, ледяныя сосульки образовывали органныя трубы, а горный потокъ игралъ на органѣ.

Ледяница сидѣла на свѣтломъ, прозрачномъ, блестящемъ днѣ.

Она поднялась вверхъ, къ Руди, поцѣловала его ноги, и ледяная, смертельная дрожь прошла по его членамъ.

Онъ почувствовалъ словно электрическій ударъ — ледъ и огонь охватили его.

— Мой! Мой! — звучало вокругъ него и внутри него. — Я цѣловала тебя, когда ты былъ крошкой, я цѣловала тебя въ губы! Теперь я цѣлую тебя въ ноги! Теперь ты весь мой! Весь, весь мой!

И Руди исчезъ въ свѣтлой голубой водѣ.

Все было тихо. Церковные колокола умоляли, ихъ послѣдніе отзвуки замерли вмѣстѣ съ блескомъ на пурпуровыхъ облакахъ.

— Ты мой! — звучало въ глубинѣ.

— Ты мой! — звучало съ вышины.

Великолѣпіе!

Летѣтъ отъ любви къ любви, отъ земли въ небо — какое чудное блаженство!

Оборвалась струна, пронесся скорбный звукъ, ледяной поцѣлуй побѣдилъ брненное существо.

Неужто ты это назовешь печальной исторіей?

Бѣдняжка Бабета! Ее охватилъ невыразимый ужасъ.

Лодку уносило все дальше, все дальше. Никто на берегу не зналъ, что женихъ съ невѣстой поплыли на островокъ.

Стали собираться тучи, вечеръ былъ темный и мрачный.

Бабета въ отчаяннѣи рыдала на островкѣ.

Надъ ней висѣла гроза, надъ горой, надъ Швейцаріей и Савоей сверкала молнія за молніей; раскаты грома грохотали одинъ за другимъ по нѣсколько минутъ къ ряду.

Иной разъ молнія освѣщала все кругомъ, какъ солнце, точно въ полдень видно было каждую виноградную лозу, а вслѣдъ за тѣмъ все тотчасъ же погружалось въ совершенный мракъ.

Молнія сверкала зигзагами, извивалась хвостами, ударялась въ озеро, свѣтилась со всѣхъ сторонъ; громовые раскаты грохотали и повторялись на тысячи ладовъ эхомъ.

Рыбаки вытащили свои лодки на землю, все живое искало пріюта и защиты отъ грозы.

Наконецъ хлынулъ дождь.

— Да гдѣ жъ это Руди и Бабета въ такую грозу? — говорилъ мельникъ.

Бабета сидѣла на островкѣ, нѣмая отъ горя. Она сложила руки, склонила голову на колѣни; она ужъ не плакала, не рыдала.

«Въ глубокой водѣ! — думала она. — Глубоко въ водѣ, на днѣ, какъ подъ глетчеромъ!»

И тутъ въ ея памяти воскресло все, что ей Руди рассказывалъ про смерть своей матери, про свое спасенье, про то, какъ его вытащили замертво изъ пропасти глетчера.

— Опять онъ достался Ледяницѣ!

Вдругъ сверкнула молнія, и такая ослѣпительная, какъ солнечное сіяніе на бѣломъ, блистающемъ снѣгѣ.

Бабета вскочила.

Въ эту минуту блѣдно-голубое озеро поднялось, точно сіяющій глетчеръ, и на немъ стояла синевато-блѣдная, вся свѣтящаяся Ледяница, а у ея ногъ лежалъ трупъ Руди.

— Мой! — сказала Ледяница.

И снова все исчезло, и снова кругомъ остался одинъ непроницаемый мракъ да перекатывающійся во мракѣ громъ.

— Ужасно! — рыдала Бабета. — Ужасно! О, зачѣмъ же надо было ему умереть, когда ужъ наступилъ день нашего счастья? Боже мой! Боже мой!

И вдругъ ей вспомнился ея вчерашній сонъ, вдругъ ей вспомнились слова, которыя она сказала во снѣ, вдругъ вспомнилось желанье, которое она высказала:

«Умереть въ такой день было бы лучше всего для Руди и для меня».

— Что же это? — рыдала Бабета. — Или сонъ этотъ былъ представленьемъ нашего будущаго житья? Охъ, нѣтъ, не можетъ этого быть! О, я, бѣдная, бѣдная, бѣдная!

Въ ночной тишинѣ она сидѣла тамъ и рыдала.

Въ этой глубокой тишинѣ ей чудилось, что она слышитъ послѣднія слова Руди:

«Нечего мнѣ больше желать на землѣ! Земля уже ничего больше дать мнѣ не можетъ!»

Тогда эти слова прозвучали въ полнотѣ радости, въ избыткѣ блаженства, а теперь они повторялись въ глухомъ горѣ, въ безысходномъ отчаяннѣ.



Прошло съ тѣхъ поръ много лѣтъ.



олубое озеро улыбается, зеленые его берега улыбаются; виноградная лоза даетъ сочные плоды, пароходы съ развѣвающимися флагами мчатся по прозрачнымъ водамъ, лодки съ надутыми парусами летаютъ по зеркальной поверхности, какъ бѣлыя бабочки; черезъ Шильонъ открыта желѣзная дорога и проходитъ въ самой глубинѣ Ронской долины.

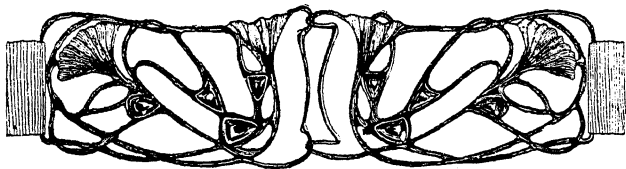
На каждой станціи изъ вагоновъ выходятъ путешественныя иностранцы. Эти иностранцы держатъ въ рукахъ «Путеводитель» въ красныхъ переплетахъ и читаютъ тамъ, что и гдѣ достопримѣчательнаго имъ слѣдуетъ осмотрѣть.

Они осматриваютъ и Шильонъ, и маленький островокъ съ тремя акаціями, и читаютъ въ книжкѣ про жениха съ невѣстой, какъ они одинъ разъ вечеромъ, въ 1850 году, переплыли на островокъ въ лодкѣ; читаютъ про смерть жениха и про то, какъ «только на слѣдующее утро услышали отчаянные крики невѣсты».

Но въ «Путеводителѣ» ничего не рассказано про тихую, печальную жизнь Бабеты у отца, только уже не на мельницѣ — на мельницѣ живутъ другіе люди, — а въ прекрасномъ домѣ, неподалеку отъ вокзала желѣзной дороги.

Въ «Путеводителѣ» не рассказано, какъ иногда ввечеру еще и теперь Бабета смотритъ въ окно сквозь развѣсистыя каштановыя деревья на зарево сіяющихъ Альповъ, гдѣ когда-то бродилъ Руди.





Магометовъ садъ.



Дѣло было далеко: кто говоритъ въ Турціи, кто говоритъ въ Персіи.
Я думаю, что скорѣе въ Турціи, потому что вѣдь тамъ садъ Магомета, а въ сказкѣ именно и упоминается о садѣ Магомета.

Ну, слушайте.

Жилъ-былъ принцъ, а у принца былъ сынъ.

У этого сына было пропасть прекрасныхъ книгъ и въ этихъ книгахъ онъ могъ читать объ всемъ, что случается и случалось на бѣломъ свѣтѣ, да еще, кромѣ того, могъ видѣть разныя изображенія этихъ происшествій на великолѣпныхъ гравюрахъ и на самыхъ яркихъ картинахъ.

Въ этихъ книгахъ было писано о всѣхъ земляхъ и о всѣхъ народахъ, но гдѣ находится Магометовъ садъ, не говорилось ни единого словечка.

А именно о Магометовомъ-то садѣ и думалъ больше всего принцевъ сынъ.

Когда онъ, то-есть принцевъ сынъ, былъ еще очень малъ, бабушка ему рассказывала, что каждый цвѣтокъ въ Магометовомъ саду — сладкій пирожокъ, самый что ни на есть сладкій, а каждая тычинка цвѣтка — самое лучшее сладкое вино; что на однихъ цвѣтахъ написана

исторія и грамматика, а на другихъ — географія и ариеметика; что для того, чтобы выучить уроки, стоитъ только кушать эти пирожки: и чѣмъ больше ихъ кушаешь, тѣмъ больше узнаешь исторій, географію и ариеметику.

Въ то время — въ то время, когда бабушка разсказывала, а онъ былъ малъ, — принцъ вѣрилъ этимъ разсказамъ, но когда онъ подросъ, сталъ учиться наукамъ и поумнѣлъ, онъ догадался, что въ Магометовомъ саду, должно-быть, водятся какія-нибудь инныя чудеса.

Разъ молодой принцъ пошелъ въ лѣсъ, и пошелъ онъ одинъ-одинешенекъ, потому что прогулка въ одиночествѣ доставляла ему великое удовольствіе.

Наступилъ вечеръ; тучи на небѣ сгустились, и скоро захлесталъ такой ливень, что небо казалось однимъ громаднымъ водопадомъ.

И при этомъ такъ было темно, какъ только можетъ быть темно непогожей ночью въ самомъ глубокомъ колодцѣ!

Молодой принцъ то скользилъ и спотыкался на мокрой травѣ, то падалъ на обнаженные камни, что высывались мѣстами изъ-подъ травы. Вода такъ и струилась съ бѣднаго юноши; на немъ не было, что называется, нитки сухой.

Трудно было пробираться молодому принцу. Иногда надо было ему взлѣзать на большущіе утесы, гдѣ вода такъ и лилась изъ высокаго мха.

Онъ уже совсѣмъ выбился изъ силъ, какъ вдругъ услышалъ странный шумъ и увидѣлъ передъ собой большую ярко освѣщенную пещеру.

Посрединѣ этой пещеры горѣло такое пламя, что можно было изжарить цѣлаго оленя.

Этимъ именно и занимались въ пещерѣ.

На вертепѣ лежалъ великолѣпнѣйшій олень, съ высокими рогами, и медленно поворачивался между двумя вырубленными стволами сосны.

Старая женщина, сильная и здоровая, какъ мужчина, сидѣла у огня и подкидывала туда полѣно за полѣномъ.

— Подойди поближе!—сказала старая женщина молодому принцу.—Сядь къ огню и посуши свое платье!

— Тутъ сильный сквозной вѣтеръ, — отвѣтилъ ей молодой принцъ.

И сѣлъ на полъ.

— Будетъ еще посильнѣе, когда вотъ сыновья мои поротятся домой. Ты знаешь ли, гдѣ ты теперь? Ты теперь въ пещерѣ вѣтровъ! Мои сыновья — четыре вѣтра, понимаешь?

— Гдѣ же твои сыновья? — спросилъ молодой принцъ.

— Ну, на глупые вопросы отвѣчать трудно! Мои сыновья распоряжаются сами собою. Они теперь, надо полагать, играютъ съ тучами, тамъ, наверху, въ королевскихъ чертогахъ.

И при этомъ старая женщина указала пальцемъ вверхъ, на небо.

— Вотъ что!—сказалъ молодой принцъ.—А вы, надо вамъ замѣтить, довольно грубы! Въ васъ нѣтъ и слѣда той уточенности и деликатности, какую я вижу въ другихъ женщинахъ, — въ тѣхъ, которыя меня окружаютъ дома! Тѣ такія ласковыя, услужливыя...

— Еще бы! Имъ вѣдь нечего больше дѣлать! Я — совсѣмъ статья другая, я должна обращаться круто, коли хочу, чтобъ дѣти оказывали мнѣ должное почтеніе и уваженіе. И, дѣйствительно, они уважаютъ и почитаютъ меня, несмотря на все свое упрямство. Видишь ты вотъ эти четыре мѣшка, которые висятъ на

стѣпнѣ? Этихъ мѣшковъ мои ребята боятся такъ, какъ въ былыя времена ты боялся розги, что лежала за зеркаломъ. Я могу согнуть своихъ сыновей въ три погибели и тогда сажаю ихъ въ эти мѣшки. Долго-то церемониться мы не любимъ! Вотъ и сидятъ они въ этихъ мѣшкахъ, и не смѣютъ пошевелиться, пока я сама не подойду и не выпущу ихъ. Да-съ! У насъ такъ! Вотъ одинъ и пожаловалъ!

Пожаловалъ Сѣверный.

Онъ вошелъ и наполнилъ пещеру ледянымъ холодомъ; крупный градъ запрыгалъ по полу, отовсюду посыпались снѣжные хлопья.

Сѣверный былъ въ панталонахъ изъ медвѣжьей шкуры и курилъ; шапка изъ морской собаки низко нахлобучена, длинныя, ледяныя сосульки висятъ на бородѣ, а съ воротника куртки катятся одна за другой крупныя градины.

— Ахъ, не подходите сейчасъ же къ огню!—вскрикнулъ молодой принцъ.—Вы можете отморозить себѣ лицо и руки.

— Отморозить?—вскрикнулъ Сѣверный и громко захохоталъ.—Да вѣдь холодъ—это мое величайшее наслажденіе! Однако ты что за птица? Откуда? Какъ ты попалъ въ пещеру вѣтровъ?

— Это мой гость!—сказала старуха.—Слышалъ: это мой гость? А коли ты этимъ объясненіемъ еще недоволенъ, такъ можешь отправляться въ мѣшокъ! Понялъ?

Слова старухи въ мгновеніе ока умили сына, и онъ очень любезно началъ рассказывать, откуда онъ явился и гдѣ пробылъ почти цѣлый мѣсяць.

— Я теперь прямехонько съ Ледовитаго океана,—сказалъ онъ.—Былъ на Медвѣжьемъ острову, охотился съ русскими охотниками за моржами. Я, видите, си-

дѣль и спалъ на рулѣ, когда они ѣхали съ Нордъ-Капа; просыпаюсь, а у меня изъ-подъ ногъ вылетаетъ бурная птица. Пресмѣшная эта птица! Взмахнетъ этакъ быстро крыльями, потомъ вытянетъ ихъ неподвижно и въ такомъ положеніи долго-долго летитъ.

— Ну, все это лишнія росказни! — сказала старуха. — Къ дѣлу! Что жъ ты былъ въ Медвѣжьемъ острову?

— Да, былъ. Ахъ, какъ тамъ хорошо! Прелесть! Земля — точно паркетъ для танцевъ, гладкая, какъ тарелка! А вокругъ лежатъ куски полурастаявшаго снѣга, и куски эти покрыты кое-гдѣ мхомъ; лежатъ тоже тамъ острые камни и остовы моржей и медвѣдей; тутъ же валяются и исполнскія руки, а на этихъ рукахъ заплѣсневѣла зелень. Кажется, никогда туда не заходитъ солнечный свѣтъ. Я пораздулъ немножечко туманъ, — хотѣлось поглядѣть, что тутъ за жилище построено, — и увидѣлъ домъ. Домъ этотъ сдѣланъ изъ негоднаго дерева и покрытъ кожами моржей. На крышѣ сидѣлъ и рычалъ живой медвѣдь. Я пошелъ погулять на берегъ, осмотрѣлъ птичьи гнѣзда и увидалъ голыхъ птенцовъ, которые громко кричали и широко раскрывали клювы. Я изо всей силы дунулъ имъ въ горло... Подальше вертѣлись моржи; они были похожи на какихъ-то исполнскихъ червей съ свиными головами и съ длинными, въ цѣлый аршинъ, языками.

— А ты славно рассказываешь, сынокъ, — сказала старуха, — ей Богу, славно! Какъ тебя слушать, такъ просто слюньки текутъ.

— Потомъ началась охота. Въ грудь моржу метнули большимъ гарпуномъ, да такъ сильно, что на желѣзо такъ и брызнулъ фонтанъ дымящейся крови.

«При этомъ я вспомнилъ и о своихъ занятіяхъ.

«Я дунулъ и приказалъ своимъ кораблямъ — громаднымъ горами льда — стиснуть лодку, на которой сидѣли охотники.

«У! какой тамъ поднялся крикъ и свистъ! У!

«Но я свистѣлъ сильнѣе!

«Охотники принуждены были вытаскивать на ледъ трупы моржей и свои сундуки и канаты. А я посыпалъ ихъ снѣжными хлопьями и погналъ ихъ въ стиснутой ладѣ къ югу, — пусть тамъ отвѣдаютъ соленой водицы! На Медвѣжій островъ они ужъ не вернуться никогда».

— Ты, значить, надѣлалъ много бѣдъ? — сказала мать.

— О томъ, что я сдѣлалъ добраго и хорошаго, пусть уже рассказываютъ другіе!.. А! Вотъ идетъ братъ Западный! Онъ пахнетъ морской водой и несетъ съ собой чудо какой холодъ.

— Это маленькій зееиръ? — спросилъ молодой принцъ.

— Ну, да, зееиръ! — отвѣчала старуха. — Только онъ вовсе не маленькій. Въ былое время онъ, точно, былъ прелестный мальчуганъ, ну, да, вѣдь это время былое, — было, значить, и прошло!

Западный очень смахивалъ на дикаря, но на головѣ носилъ дѣтскую шапочку.

Въ рукахъ у него была дубина изъ краснаго дерева, вырубленная въ американскихъ лѣсахъ.

Дубина эта была — ой-ой: штука не маленькая!

— Откуда ты? — спросила мать.

— Изъ лѣсныхъ пустынь, — отвѣчалъ онъ. — Изъ лѣсныхъ пустынь, гдѣ ліаны тянутся, точно какой заборъ между деревьями, гдѣ водяная змѣя отдыхаетъ на

влажной травѣ, гдѣ присутствіе людей кажется вовсе ненужнымъ.

— Что ты тамъ дѣлалъ?

— Я смотрѣлъ на глубокую рѣку, смотрѣлъ, какъ она свергается съ утеса, дробится пылью и взметывается къ облакамъ и превращается въ радугу. Я видѣлъ, какъ дикій буйволъ плыветъ по рѣкѣ, а теченье его уноситъ, уноситъ — и унесло. Онъ гнался за стадомъ дикихъ утокъ, которыя прилетѣли къ тому мѣсту, гдѣ вода свергается съ утеса. Буйвола понесло внизъ по теченью, и это мнѣ такъ понравилось, что я тотчасъ же поднялъ такую бурю, что вѣковья деревья помчались по водѣ и раскололись въ щепки!

— А еще ты чѣмъ отличился? — спросила мать.

— Я леталъ въ Саваннахъ, хлесталъ дикихъ лошадей и сбрасывалъ съ деревьевъ кокосовые орѣхи. Да, мнѣ есть-таки о чемъ поразсказать! Но ты знаешь, всего вѣдь говорить нельзя. Ты вѣдь сама это отлично понимаешь, старушка!

И при этихъ словахъ Западный поцѣловалъ свою мамашу такъ сильно, что мамаша чуть-чуть не повалилась навзничь.

Ужасный дикарь былъ этотъ парень!

Затѣмъ пожаловалъ Южный. Онъ былъ въ чалмѣ и въ развѣвающимся бедуинскомъ покрывалѣ.

— Ухъ! Какой здѣсь холодъ! — сказалъ онъ и подбросилъ дровъ въ огонь, — видно сейчасъ, что Сѣверный прежде всѣхъ сюда прикатилъ!

— Тутъ такая жара, что можно испечь цѣлаго сѣвернаго медвѣдя! — возразилъ Сѣверный.

— Ты самъ сѣверный медвѣдь! — отвѣтилъ на это Южный.

— Вы, видно, хотите, чтобъ я васъ запрятала въ мѣшки? — крикнула мать. — Садись-ка лучше на камень да рассказывай, гдѣ былъ!

— Въ Африкѣ, мамаша. Я ходилъ съ готтентотами на охоту за львами, въ землю кафровъ. Тамъ, въ равнинахъ, растеть трава, такая зеленая, какъ оливы. Тамъ бѣгаль со мною страусъ взапуски, но я быстрой его. Потомъ я былъ въ песчаной пустынѣ. Видъ тутъ такой, точно какъ на днѣ моря. Въ песчаной пустынѣ я встрѣтилъ караванъ. Люди убили своего послѣдняго верблюда, чтобы добыть воды, но воды оказалось очень немного. Солнце жгло сверху, а песокъ жегъ снизу. Пустынѣ, казалось, и конца не было. Тутъ-то я ударился въ тонкій, разсыпчатый песокъ и принялся вздымать его и крутить высокими столбами. То-то была бѣшеная пляска! Если бы ты только видѣла, въ какое унынье пришли верблюды и съ какимъ отчаяньемъ люди закрыли себѣ головы кафтанами! Они пали передо мной ницъ, какъ передъ Аллахомъ. Теперь они всѣ похоронены и надъ ихъ трупами цѣлая пирамида песку... Если я еще когда-нибудь дуну на эту пирамиду, такъ солнце освѣтитъ бѣлыя кости, и путники увидятъ, что тутъ погребены люди. А иначе вѣдь этому не повѣрятъ въ пустынѣ.

— Значить, ты дѣлалъ однѣ только гадости! — сказала мать. — Ступай же за это въ мѣшокъ! Въ мѣшокъ, въ мѣшокъ!

И въ одно мгновеніе она схватила Южнаго и сунула его въ мѣшокъ.

Онъ попробовалъ было вертѣться на полу, но она сѣла на него и тѣмъ очень быстро заставила его успокоиться.

— Славныя у васъ дѣтки, — сказалъ принцъ.

— Еще бы! — отвѣчала она. — Я вѣдь умѣю держать ихъ въ рукахъ! А вотъ и четвертый пожаловалъ. Вошелъ Восточный, одѣтый по-китайски.

— Такъ ты изъ Китая? — спросила мать. — А я думала, что ты въ Магометовомъ саду обрѣтаешься!

— Нѣтъ, я туда полечу только завтра утромъ, — отвѣчалъ Восточный. — Завтра ровно сто лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я былъ тамъ. Теперь я изъ Китая, гдѣ плясалъ вокругъ фарфоровой башни такъ усердно, что всѣ колокола трезвонили. Чиновниковъ наказывали за это на улицѣ: били ихъ по спинѣ бамбуковыми палками. А это были сановники отъ перваго до девятаго класса! Они кричали:

«— Покор-р-р-но благодаримъ! Отецъ и благодѣтель! Покорно благодаримъ!»

«А я между тѣмъ все трезвонилъ въ колокола и пѣлъ имъ:

«— Дзингъ-дзангъ-дзу! Дзингъ-дзангъ-дзу!»

— Ты озорникъ, мальчишка! — сказала мать. — Хорошо, что ты завтра будешь въ Магометовомъ саду: это путешествіе поспособствуетъ твоему образованію. Ты только смотри: напейся побольше изъ источника премудрости, который тамъ протекаетъ, да принеси и мнѣ бутылочку этой водицы.

— Ладно. А за что ты засадила брата Южнаго въ мѣшокъ? Выпусти его сейчасъ. Онъ долженъ мнѣ рассказать про птицу Феникса. Принцесса въ Магометовомъ саду каждый разъ, какъ меня увидитъ, такъ и пристаегъ, расскажи про птицу Феникса! Расскажи! Ну, открой мѣшокъ! Я тебѣ за это подарю отличнѣйшаго чаю, который я сорвалъ на мѣстѣ.

— Ну, ужъ только ради чаю, да еще ради того, что ты мой любимчикъ! Такъ и быть, исполню твое желаніе!

Она открыла мѣшокъ, и Южный изъ него выползъ.

Южный былъ очень переконфужень, потому что принцъ видѣлъ всю эту сцену.

— Вотъ тебѣ пальмовый листъ для твоей принцессы! — сказалъ Южный Восточному. — Этотъ пальмовый листъ дала мнѣ старая птица Фениксъ, единственная, которая осталась на свѣтѣ. Исторію всей своей столѣтней жизни Фениксъ написалъ клювомъ на этомъ листѣ. Принцесса, значитъ, можетъ теперь сама прочесть, какъ Фениксъ устроилъ себѣ гнѣздо въ огнѣ, сѣлъ въ него и загорѣлся, какъ вдова индѣйца. Какъ трещали сухія вѣтки! Какой дымъ валилъ съ этого костра! Наконецъ все обратилось въ пламень.

И вотъ старый Фениксъ превратился въ пепель.

Но яйцо его, раскаленное докрасна, лежало въ огнѣ.

Вдругъ это яйцо лопнуло съ ужаснымъ трескомъ, и оттуда вылетѣлъ птенецъ.

Теперь этотъ птенецъ — царь надъ всѣми птицами и единственный Фениксъ въ мірѣ.

— Въ пальмовомъ листѣ, который я тебѣ отдалъ, онъ прокусилъ дырочку: это его привѣтствіе принцессѣ!

— Ну, теперь пора поѣсть, — сказала старуха.

Всѣ подсѣли къ огню и принялись за жаренаго оленя.

Принцъ помѣстился рядомъ съ Восточнымъ, а потому они скоро и подружились.

— Скажи мнѣ, пожалуйста, что это за принцесса, про которую вы такъ много говорили? — спросилъ его принцъ. — Она всегда въ Магометовомъ саду? И гдѣ этотъ Магометовъ садъ?

— О-го-го! — отвѣчалъ Восточный. — Ужъ не замышляешь ли ты туда отправиться? Что жъ, пожалуй, полетимъ вмѣстѣ. Но я долженъ тебя предупредить, другъ любезный, что теперь тамъ ужъ не прежнее раздолье!

Нѣтъ прежнихъ цвѣтовъ, нѣтъ и прежняго, значить, благоуханья! Впрочемъ, тамъ живетъ еще царица фей и тамъ еще находится островъ блаженства, куда никогда не проникаетъ смерть, и гдѣ прелесть какъ хорошо! Садись завтра ко мнѣ на спину,—я возьму тебя съ собой... А теперь довольно разговаривать, мнѣ спать хочется!

И всѣ заснули.

Проснулся принцъ очень рано поутру и крайне удивился, увидавъ, что онъ подъ облаками.

Онъ сидѣлъ у Восточнаго на спинѣ, и Восточный крѣпко его держалъ.

Они были на такой высотѣ, что лѣса, поля, рѣки, моря представлялись точками на раскрашенной картѣ.

— Добраго утра! — сказала Восточный принцу. — Ты бы могъ еще поспать, потому что покаместъ нѣтъ подъ нами ничего такого, на что бы стоило взглянуть. Развѣ вотъ не доставить ли тебѣ удовольствія считать церковныя колокольни? Такъ изволь: вотъ онѣ стоятъ, точно написанныя мѣломъ точки на зеленой доскѣ.

Зеленой доской Восточный называлъ поля и луга.

— Я не простился съ твоей матерью ни съ братьями, — сказала принцъ. — Это съ моей стороны невѣжливо!

— Кто спитъ, тотъ не грѣшитъ! — отвѣчалъ Восточный.

И затѣмъ они полетѣли еще быстрѣе.

Объ этой быстротѣ можно было судить по шуму вѣтвей и листьевъ на тѣхъ деревьяхъ, надъ которыми они проносились, по рокоту морей, которыя высоко вздымали волны, при чемъ громадные корабли погружались въ воду, точно плавающіе лебеди.

Вечеру, когда ужь стемнѣло, города приняли пре-забавный видъ.

Сверху было видно, какъ въ разныхъ мѣстахъ вспыхивали огни. Похоже было на то, какъ будто кто-нибудь зажегъ клочокъ бумаги и глядитъ, какъ искры разлетаются и пропадаютъ другъ за дружкой.

Принцъ отъ удовольствія захопалъ было въ ладоши, но Восточный попросилъ его этого не дѣлать, потому что иначе можно, пожалуй, кувырнуться внизъ и повиснуть на какой-нибудь колокольнѣ.

Быстро летаетъ орелъ въ темныхъ лѣсахъ, надъ крутыми горами, но еще быстрѣе леталъ Восточный. Шибко мчится казакъ на своемъ борзомъ конѣ по равнинѣ, но еще шибче мчится Восточный.

— Вотъ подъ тобой и Гималаи, — сказалъ онъ принцу. — Это самыя высочайшія горы въ Азін. Теперь мы ужь скоро будемъ въ Магометовомъ саду.

Тутъ они повернули къ югу, и черезъ нѣсколько времени въ воздухѣ сильно запахло разными пряно-стями и цвѣтами.

Земля была покрыта финиковыми и гранатными деревьями, а на дикихъ лозахъ висѣли гроздья синяго и краснаго винограда.

Тутъ наши путешественники опустились на мягкую траву, усыпанную яркими цвѣтами, и цвѣты ласково закивали головками Восточному, словно желали ему сказать:

— Милости просимъ! Милости просимъ!

— Это мы въ Магометовомъ саду? — спросилъ принцъ.

— О, нѣтъ еще! Но мы скоро тамъ будемъ. Видишь ты вонъ тамъ скалистую стѣну и большую пещеру? Гляди, надъ входомъ въ пещеру висятъ виноградныя

лозы, точно какая сквозная зеленая драпировка, видишь?

— Сквозь эту-то драпировку мы туда и проберемся.

— Завернись поплотнѣй въ плащъ: здѣсь солнце печетъ, а пройдемъ мы шага два и сдѣлается жестоко холодно. У птицы, которая пролетаетъ мимо этой пещеры, одно крыло согрѣвается жаркими лучами солнца, а другое мерзнетъ отъ страшной стужи.

— Такъ эта-то дорога въ Магометовъ садъ? — спросилъ принцъ.

— Да, эта.

Вошли они въ пещеру.

Создатель! Какой тамъ холодище!

Но это недолго продолжалось.

Восточный расправилъ крылья, и они заблестѣли, какъ самый яркій огонь.

Что это за страшная пещера! Громадныя каменные глыбы висѣли въ самыхъ причудливыхъ формахъ; своды были то такіе низкіе, что приходилось пробираться ползкомъ, то такіе высокіе, что ихъ не было и видно.

Вообще пещера смахивала на погребальную часовню съ безмолвными каменными органами.

— Мы, стало-быть, идемъ въ Магометовъ садъ дорогой смерти? — спросилъ принцъ. — Вѣдь здѣсь смерть?

Восточный ничего ему на это не отвѣтилъ и только быстро двигался впередъ.

Скоро блеснулъ чистѣйшій голубой воздухъ.

Каменные глыбы, которыя висѣли надъ ними, все больше и больше превращались въ паръ, и этотъ паръ, наконецъ, принялъ видъ бѣлаго облачка, и это облачко было все озарено тихимъ, мягкимъ луннымъ свѣтомъ.

На путешественниковъ пахнулъ свѣжій, какъ атмосфера горъ, воздухъ, благоуханный, какъ розы долины.

Тутъ же текла рѣка, какъ воздухъ, чистая и голубая. Рыбы въ этой рѣкѣ были словно серебряныя и золотыя; на самомъ днѣ юлили пурпурно-красныя угри, изъ которыхъ при каждомъ ихъ движеніи летѣли сінія искры: листья водяныхъ цвѣтовъ были радужнаго цвѣта, а сами цвѣты походили на красно-желтое пламя; мостъ изъ мрамора, прочный, надежный, но сработанный такъ тонко и изящно, что казался изъ тончайшаго кружева и бусъ, велъ черезъ прозрачныя воды къ острову блаженства, на которомъ красовался Магометовъ садъ.

Восточный взялъ принца на руки и понесъ его черезъ мостъ.

Листья и цвѣты запѣли пѣсни, какія принцъ слыхалъ въ дѣтствѣ, но запѣли такъ восхитительно, какъ ужъ, разумѣется, не спѣтъ ни одному человѣческому голосу.

Здѣсь росли пальмы и исполинскія водяныя растенія. Такихъ роскошныхъ, сочныхъ, громадныхъ, густолиственныхъ деревьевъ принцъ отроду не видывалъ.

Тутъ же переплетались удивительнѣйшими гирляндами разныя ползучія растенія и образовывали такіе чудные узоры, какіе можно встрѣтить только на поляхъ старинныхъ молитвенниковъ: то было самое фантастическое соединеніе цвѣтовъ, птицъ и арабесковъ.

На травѣ стояло цѣлое стадо павлиновъ съ развернутыми, какъ вѣера, солнцеобразными хвостами.

Принцъ прикоснулся къ нимъ и увидалъ, что это не павлины, а растенія.

То были репейники, имѣвшіе видъ великолѣпныхъ павлиньихъ хвостовъ.

Львы и тигры прыгали, какъ рѣзвыя, игривыя кошки, въ изумрудно-зеленыхъ кустарникахъ, а кустар-

ники эти пахли, какъ цвѣты оливковаго дерева, — и эти звѣри были тутъ совершенно ручные и премилые.

Дикая лѣсная голубка блестяла, какъ жемчугъ, бѣлизной своихъ перышекъ и хлопала сверкающими крыльями по гривѣ льва, и антилопа, — такое робкое, смиренное животное, — стояла тутъ же и кивала головой, точно хотѣла сказать, что она тоже желаетъ принять участіе въ этой игрѣ.

Навстрѣчу принцу вышла изъ сада фея.

Одежды на этой феѣ блестяли, какъ солнце, а лицо у нея было такое веселое, какъ у матери, которая радуется счастьемъ своего дитяти. Она была молода и чудо какъ хороша собой.

За нею шли слѣдомъ прекрасныя дѣвушки, и у каждой въ волосахъ сверкала искрометная звѣзда.

Восточный подалъ феѣ пальмовый листъ отъ птицы Феникса, и глаза ея заблестали радостью.

Фея взяла принца за руку и повела его въ замокъ, а въ замкѣ стѣны были такого цвѣта, какой имѣетъ самый великолѣпный тюльпанъ, если его держишь противъ солнца. Въмѣсто потолка тутъ былъ одинъ громадный яркій цвѣтокъ.

Чѣмъ дольше вы на этотъ цвѣтокъ глядѣли, тѣмъ глубже становилась его чашечка.

Принцъ подошелъ къ одному окну, выглянулъ изъ него и увидалъ чудеснѣйшія деревья.

Фея все улыбалась и ввела принца въ высокій залъ; стѣны въ этомъ залѣ были совершенно прозрачныя, и на нихъ висѣли портреты, и одно лицо было красивѣе другого.

Милліоны блаженныхъ улыбались и пѣли, что составляло удивительнѣйшій хоръ.

Самые верхніе пѣвцы были такъ малы, что казались меньше самой молодой розовой почки.

Среди зала стояло огромное дерево съ висячими роскошными вѣтвями; золотыя яблоки, большія и маленькія, висѣли какъ апельсины между зелеными



листьями. Роса сочилась съ каждаго листа блестящими алыми каплями; казалось, дерево плачетъ кровавыми слезами.

— Сядемъ теперь въ лодку, — сказала фея. — Тамъ насъ ожидаетъ отличное угощенье! Эта лодка, кажется, совсѣмъ не двигается съ мѣста, но всѣ страны земного шара проходятъ передъ ней.

И удивительно было смотрѣть, какъ двигается весь берегъ.

Вотъ прошли высокія снѣжныя Альпы съ тучами и черными елями; тоскливо зазвучалъ рогъ, и раздалась задушевная пѣсня пастуха.

Вотъ банановыя деревья склонили надъ лодкой свои длинныя висячія вѣтви; черные, какъ уголь, лебеди поплыли по водѣ, а на берегу появились самыя рѣдкіе звѣри и птицы.

Это была Новая Голландія, пятая часть свѣта.

Вотъ послышалось пѣніе жрецовъ, и при звукѣ барабановъ и костяныхъ трубъ дикари понеслись въ бѣшеной пляскѣ.

Вотъ потянулись мимо лодки египетскія пирамиды, достигавшія до самыхъ облаковъ, опрокинутыя колонны и полузарытые въ песокъ сфинксы.

Вотъ и сѣверное сіяніе озарило выгорѣвшіе вулканы сѣвера, — такого фейерверка не могъ бы устроить ни единый человѣкъ.

Принцъ былъ въ восхищеніи.

Мы не можемъ рассказать и сотой доли чудесъ, которыя онъ тутъ видѣлъ.

— И я могу здѣсь остаться? — спросилъ принцъ. — Я могу здѣсь навсегда остаться?

— Это какъ ты хочешь, это зависитъ отъ тебя, — отвѣтила ему фея. — Коли ты не станешь, какъ прародитель твой Адамъ, добиваться запрещеннаго, то можешь никогда отсюда не уходить.

— Я не дотронусь до яблокъ познанія добра и зла, — сказалъ принцъ, который отлично учился и поэтому зналъ священную исторію и сейчасъ же могъ сообразить, чего запрещеннаго добивался его прародитель Адамъ. — Я ни за что до нихъ не дотронусь, если они тутъ у васъ есть: вѣдь здѣсь и безъ нихъ цѣлыя тысячи плодовъ, и плодовъ прекрасныхъ.

— Что жъ, испытай себя, — сказала фея, — и если ты увидишь, что ты недостаточно твердъ, такъ отправляйся обратно съ Восточнымъ, который тебя сюда принесъ. Онъ скоро теперь улетааетъ домой и вернется сюда только черезъ сто лѣтъ.

«Эти сто лѣтъ пройдутъ здѣсь для тебя какъ сто часовъ, но для испытанья, равно какъ и для грѣха, это время — охъ, какое длинное!

«Каждый вечеръ я буду проходить мимо тебя и говорить: «Пойдемъ со мной!» И буду манить тебя рукою.

«Но ты за мной не слѣдуй, ты никогда не сдавайся на мое приглашеніе, потому что ты съ каждымъ шагомъ все сильнѣй да сильнѣй будешь томиться желаньемъ идти впередъ и такимъ образомъ ты, наконецъ, очутишься въ томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ Магометово дерево познанія добра и зла.

«Я сплю подъ благоухающими вѣтвями этого дерева, и когда ты наклонишься, я должна буду улыбнуться. А если ты подѣлуешь меня, ты вдругъ словно провалишься.

«Рѣзкій вѣтеръ пустыни будетъ дуть на тебя, холодный дождь будетъ струиться съ твоей головы, гонимыя и бѣдствія сдѣлаются твоимъ удѣломъ».

— Я остаюсь! — сказалъ принцъ.

Тогда Восточный поцѣловалъ его въ лобъ и сказалъ:

— Будь твердь, и мы опять съ тобой встрѣтимся черезъ сто лѣтъ! Прощай, прощай! До свиданія!

Восточный распростеръ свои громадныя крылья, которыя свергнули, какъ молнія во время жатвы, или какъ сѣверное сіяніе зною.

— Прощай, прощай! — залѣли травы и цвѣты.

Журавли и пеликаны длинными вереницами помчались за Восточнымъ и проводили его до самой границы сада.

— Ну, теперь начнутся веселіе и пляски! — сказала фея. — А какъ только они окончатся и солнце закатится, ты увидишь, я буду манить тебя, ты услышишь мои слова: «Пойдемъ, пойдемъ со мною!» Но помни: не слушайся! Я должна буду повторять это тебѣ сто лѣтъ, а ты сто лѣтъ все не слушайся. Впрочемъ, съ каждымъ годомъ ты все будешь становиться сильнѣе, тебѣ все легче будетъ противиться искушенію, а подъ конецъ ты просто совсѣмъ перестанешь обращать на это вниманіе. Только будь твердь сначала! Сегодня ввечеру начало испытанья. Ну, я свое дѣло сдѣлала: я тебя предостерегла!

И фея повела принца въ большой залъ изъ бѣлыхъ прозрачныхъ лилій. Желтыя тычинки каждаго цвѣтка образовывали маленькую золотую арфу, которая удивительно какъ хорошо играла: въ ней одной слышались и струнные инструменты и флейта.

Красавицы и красавцы, одѣтые въ какое-то прозрачное облако, танцовали и пѣли о томъ, что жизнь — блаженное дѣло, и что Магометовъ садъ будетъ вѣчно цвѣсти.

Вотъ закатилось солнце; вотъ все небо превратилось въ сплошное золото, и это придадо лиліямъ видъ великолѣпнѣйшихъ розъ.

Принцъ испилъ вина, которое ему поднесли дѣвушки,

и почувствовалъ такое блаженство, какого никогда еще отроду не чувствовалъ.

Вдругъ задняя стѣна залы раздвинулась, и принцъ увидѣлъ ослѣпительно-сіяющее дерево, обремененное сверкающими, какъ молнія, плодами.

Изъ-за дерева послась пѣсня тихая, мягкая, задушевная,— такая пѣсня, что сердце отъ нея такъ и таяло.

Принцу почудилось, что это голосъ матери, что она поетъ :

— Дитя мое! Дорогое дитя мое!

Въ эту самую минуту явилась фея, кивнула ему головой и восхитительно-ласково сказала:

— Пойдемъ со мной! Пойдемъ со мной!

Принцъ кинулся по ея призыву за ней слѣдомъ.

Онъ свое обѣщаніе забылъ въ первый же вечеръ!

А фея все манила и улыбалась.

Чудесный аромат, наполнявшій залъ, становился все сильнѣе и сильнѣе; арфы издавали звуки все сладостнѣе и сладостнѣе, и принцу казалось, что милліоны портретовъ улыбались ему, манили его и пѣли:

— Иди, иди! Все надо познать! Все надо испытать! Иди, иди!

И теперь уже не кровавыя слезы капали съ ослѣпительнаго дерева, а, казалось принцу, алая, сверкающія звѣзды.

— Пойдемъ со мной! Пойдемъ со мной! — раздавалось въ воздухѣ.

— Я долженъ итти! — говорилъ самъ себѣ принцъ. — Я долженъ итти! Отчего жъ мнѣ не пойти въ слѣдъ за красотой и радостью? Я хочу только поглядѣть, какъ она спитъ. Цѣловать я ее не стану! О, ни за что не стану! У меня вѣдь твердый характеръ!

Щеки его разгорались все сильнѣе и сильнѣе, кровь все быстрѣе и быстрѣе двигалась въ жилахъ.

Фея раздвинула вѣтви и скрылась за ними.

«Я только пойду посмотрю!» думалъ принцъ.

И онъ тоже раздвинулъ вѣтви. Фея уже спала.

Она была хороша, какъ можетъ быть хороша только фея въ Магометовомъ саду.

Она улыбалась во снѣ.

Принцъ наклонился къ ней и увидалъ, что на рѣсницахъ у нея дрожатъ слезы.

— О комъ ты плачешь? — спросилъ принцъ. — Обо мнѣ? О, добрая!

И онъ поцѣловалъ ее въ глаза. Въ то же самое мгновеніе раздался такой страшнѣйшій громовой ударъ, какого, конечно, никому никогда не приходилось слышать.

Все съ ужаснѣйшимъ трескомъ рушилось. Цвѣтушій садъ съ красавицею феей стремглавъ полетѣлъ внизъ...

Принцъ чувствовалъ, какъ онъ опускается все ниже и ниже, все глубже и глубже, какъ окружается густой темнотой.

Точно маленькая звѣздочка блистала онъ въ непроглядной дали.

Смертельный холодъ охватилъ принца. Онъ закрылъ глаза и потерялъ чувство.

Холодный дождь, жестоко хлеставшій ему въ лицо, и рѣзкій вѣтеръ, пронизавшій насквозь, заставили его очнуться.

— Что я сдѣлалъ? — спросилъ онъ себя съ глубокимъ вздохомъ. — Я не выдержалъ характера, и прекрасный садъ обрушился!

Онъ оглядѣлся.

Вдали сверкали звѣздочки.

То была утренняя звѣздочка.

Принцъ всталъ и очутился въ лѣсу, у пещеры вѣтровъ.

Старуха-мать сидѣла у порога. Она была очень разсержена, глянула на него и сказала:

— Въ первый же вечеръ! Такъ я и думала! Эхъ, ты, сокровище! Ну, будь ты мнѣ сынъ, я бы тебя упрятала въ мѣшокъ!

— Не безпокойся: онъ туда поидеть — сказала смерть.

У смерти въ рукѣ была острая коса, а за плечами большія черныя крылья. Это былъ здоровый на видъ старичина.

— Да, мы его запрячемъ туда, въ мѣшокъ-то, то-есть въ гробъ! — продолжала смерть. — Но теперь еще пока не время.

Пусть еще погуляетъ по свѣту, авось, поисправится!





Съ крѣпостного вала.



а дворѣ погожая осень. Мы стоимъ на крѣпостномъ валу и оттуда глядимъ на море.

Мы видимъ много кораблей, и шведскій берегъ по ту сторону Зунда высоко поднимается надъ зеркальной поверхностью воды, при сіяньи вечерней алой зари.

А позади насъ стоитъ лѣсъ стѣной, насъ окружають великолѣпныя деревья, и желтые листья тихо летяють съ ихъ вѣтвей.

Внизу, у подножія крѣпостного вала, виднѣются темныя дома, обнесенныя частыми палисадниками.

Страшно и тѣсно внутри этихъ домовъ.

Но еще страшнѣе тамъ, за желѣзными рѣшетками застѣнныхъ казематовъ! Тамъ сидяють каторжники, самыя безчеловѣчныя преступники.

Золотой лучъ заходящаго солнца падаетъ на мрачную камеру одного заключеннаго. Солнце вѣдь равно освѣщаетъ и хорошее, и худое, и доброе, и злое. Угрюмый, ожесточенный преступникъ смотритъ съ горечью и отвращеніемъ на этотъ играющій золотой солнечный лучъ.

На рѣшетку сѣла подлетѣвшая къ тюрьмѣ птичка. Она вѣдь равно щебечетъ и добрымъ и злымъ.

Она выщebetываетъ одно свое коротенькое: «квивить! квивить!» Но все сидитъ на рѣшеткѣ, взмахиваетъ крылышками, вытаскиваетъ перышки изъ-подъ крылышка, чистится, топорщитъ перышки на грудкѣ, охорашивается, поворачиваетъ головкой туда и сюда, поблескиваетъ темными глазками, — и угрюмый каторжникъ глядитъ на нее. Хотя тяжелая цѣпь попрежнему давитъ, но его лицо какъ-то смягчается. Новыя мысли, новыя чувства приливаютъ, — вы это можете замѣтить. Онъ еще самъ не уясняетъ себѣ, что это за мысли и за чувства, но они сродни солнечному лучу и благоуханію фіалокъ, что цвѣтутъ весной у подножія тюремной стѣны.

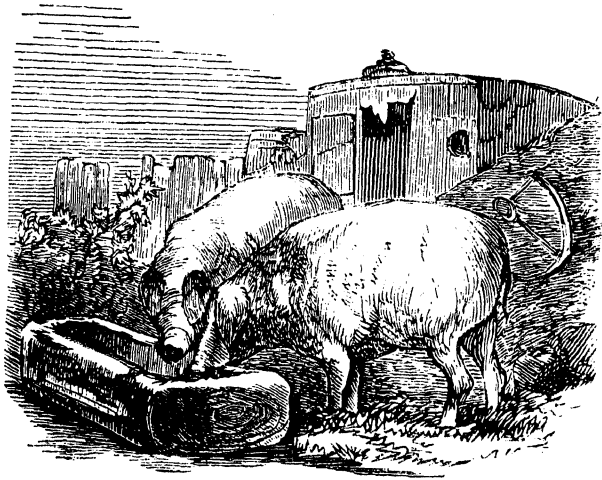
Вотъ раздался звукъ роговъ, — это трубятъ стрѣлки. Что за звучный отголосокъ пошелъ по горамъ.

Птичка испугалась, встрепенулась и улетѣла прочь. Золотистый солнечный лучъ мало-по-малу гаснетъ и исчезаетъ.

И опять потемнѣло въ мрачномъ казематѣ, и опять потемнѣло лицо угрюмаго каторжника.

А все-таки хорошо, что заглянулъ къ нему лучъ свѣта и прощebetала ему птичка.

Раздавайтесь, раздавайтесь, звуки охотничьихъ роговъ! Раздавайтесь, — вечеръ чудный, и море тихо колышетъ свою зеркальную гладкую поверхность.



Денежная свинья.



Въ дѣтской навалены цѣлыя кучи игрушекъ. Высоко, на платяномъ шкапѣ, стоитъ глиняная копилка. Копилку эту купили у горшечника, и она сдѣлана въ видѣ маленькой свинки.

У свинки была, разумѣется, на спинѣ щель, и щель эту такъ расширили ножомъ, что туда могли проскальзывать большіе талеры. Они туда и проскользнули: между мѣдными грошами ихъ тамъ лежало цѣлыхъ два.

Свинья была ужъ до того туго начинена, что деньги въ ней и не гремѣли, а вѣдь выше этого ужъ ничего нѣтъ и ничего быть не можетъ для копилки.

Вотъ и стояла она на шкапѣ и смотрѣла свысока на все, что было въ комнатѣ.

Она очень хорошо понимала, что может купить весь этот хламъ на то, чѣмъ она начинена, а это и называется разумнымъ сознаніемъ.

То же думали и другіе, хотя прямо того не высказывали.

И безъ того было о чемъ поговорить!

Ящикъ комода былъ выдвинутъ наполовину, и оттуда выглядывала большая прекрасная кукла.

(Правда, кукла эта была ужъ нѣсколько поизмятая, потертая, съ подклеенной шеей, но все же очень еще презентабельна.)

Кукла поглядѣла изъ ящика и сказала:

— Ну, теперь давайте мы играть въ людей, въѣдъ это все-таки что-нибудь да значить!

И всѣ ея послушались.

Вотъ въ комнатѣ все задвигалось, завозилось, зашумѣло; даже картины, что висѣли по стѣнамъ, и тѣ подпрыгнули и повернулись наизнанку, чтобы показать, что у нихъ есть и другая сторона.

Впрочемъ, картины это сдѣлали вовсе не для протеста.

Была поздняя ночь. Мѣсяць ярко свѣтилъ въ окна и снабжалъ, такимъ образомъ, даровымъ освѣщеніемъ.

Пора было начинать игру, и всѣ, даже дѣтская колясочка, принадлежавшая уже къ болѣе аляповатымъ и грубымъ игрушкамъ, и та была приглашена участвовать въ представленіи.

— У каждого свои особыя качества! — сказала колясочка. — Не всѣмъ же быть благородными! Должны жъ быть и такіе, которые, что называется, какое-нибудь дѣло дѣлаютъ!

Одна только свинья съ деньгами удостоилась письменнаго приглашенія.

Свинья съ деньгами стояла, видите ли, очень высоко, и полагали, что она не приметъ словеснаго приглашенія.

Свинья ничего не отвѣтила и не сказала, придетъ ли она, или нѣтъ. Она не сошла внизъ. Все, что могла она для нихъ сдѣлать, это посмотрѣть на игру съ своего высокаго мѣста.

Они должны были съ этимъ сообразоваться.

Они и сообразовались. Представленье устроили такимъ образомъ, что свинья могла прямо глядѣть на него.

Хотѣли было начать со спектакля, потомъ угощаться чаемъ и десертомъ, а потомъ заняться умными разговорами, однако начали прямо съ умныхъ разговоровъ.

Деревянная лошадка-качалка разсуждала о скачкахъ, о ретивости и о кровныхъ породахъ; дѣтская колясочка толковала о желѣзныхъ дорогахъ и о паровой силѣ.

Все это, разумѣется, было по ихъ части, и именно объ этомъ имъ и прилично было трактовать.

Столовые часы разсуждали о политикѣ — тики-тики.

Столовые часы вѣдь знали, чему пробилъ часъ, хотя злые языки и увѣряли, что они ходятъ невѣрно.

Камышевая трость стояла гордо и чопорно, какъ деревянная; она очень много думала про свои мѣдныя кольца и серебряный набалдашникъ.

Да и какъ ей было не думать, скажите, пожалуйста? Вѣдь она сверху донизу была обдѣлана въ металлъ.

На софѣ лежали двѣ вышитыя подушки — яркія, красивыя и глупыя.

Ну, началось представленье. Публику просили хлопать, щелкать, стрѣлять и звенѣть въ свое удовольствіе.

Но хлысть объявилъ, что онъ никогда не хлопаеть старымъ, а что хлопаеть онъ только молодымъ, да и то тѣмъ, которыя еще не замужемъ, — у которыхъ даже нѣтъ и жениха.

— А я хлопала всѣмъ! — сказала добрая хлопушка. «Гдѣ-нибудь, да надо стоять!» думала плевательница.

Вотъ какія мысли занимали публику во время представленія.

Пьеса никуда не годилась, но разыграна была хорошо. Всѣ актеры обращались къ публикѣ раскрашенной стороной.

(Ужъ такъ они были сотворены, что на нихъ слѣдовало смотрѣть именно только съ этой, съ раскрашенной, а не съ изнанки, не съ оборотной.)

И всѣ играли отлично-преотлично, — просто совсѣмъ за рамку выскакивали.

Проволока была немножко длинна. Ну, да тѣмъ удобнѣе было имъ подаваться впередъ.

Подклеенная кукла совершенно «изъ себя выходила», — до того ужъ «изъ себя», что шея опять отклеилась.

А свинья, съ своей стороны, пришла въ восторгъ, что даже пожелала чѣмъ-нибудь наградить одного изъ артистовъ.

Она до того пришла въ восторгъ, что даже подумала, не упомянуть ли его въ своей духовной и не завѣщать ли, чтобъ его похоронили вмѣстѣ съ нею въ фамилльномъ склепѣ, — похоронили, разумѣется, тогда, когда дѣло дойдетъ до этого.

Представленье доставило столько наслажденій, что общество даже позабыло про чай и удовольствовалось одними умными разговорами.

Это называлось у нихъ играть въ людей.

И тутъ, конечно, не было ровно ничего дурного, потому что они вѣдь только играли и каждый думалъ лишь про самого себя и про то, что подумаетъ денежная свинья.

А денежная свинья думала больше всѣхъ. Она думала о завѣщаньи и о похоронахъ, и о томъ, что, пожалуй, все это будетъ покончено раньше, чѣмъ ожидаешь.

Вдругъ — кнакъ! Свинья полетѣла со шкапа на полъ и разбилась вдребезги.

Гроши заплясали и запрыгали такъ, что весело было глядѣть; самыя мелкія монеты завертѣлись волчкомъ; крупныя покатались величественнѣе, и между ними покатился и одинъ большой серебряный талеръ, которому хотѣлось повидать свѣта.

И талеру удалось это.

Да не только талеръ, а и всѣ прочія монеты потомъ-таки потолкались на бѣломъ свѣтѣ, а черепки свиньи были выброшены въ сорный ушатъ.

Черезъ день на шкапѣ явилась новая свинья. Свинья еще не была начинена деньгами, въ ней еще не было ни полушки, такъ что она не могла гремѣть и въ этомъ была похожа на прежнюю.

Для начала и то, по-моему, хорошо.

А мы на этомъ и кончимъ.





Тернистый путь.



Нсть одна старинная сказка «О тернистомъ пути славы», про одного стрѣлка, который достигъ великихъ почестей, но достигъ послѣ «превратностей и опасныхъ битвъ».

Кто не вспоминалъ, слушая эту сказку, своего собственнаго «тернистаго пути» и своихъ «многихъ побѣжденныхъ превратностей?»

Сказка и дѣйствительность такъ близко граничатъ другъ съ другомъ!

Но у сказки-то есть своя успокоительная развязка здѣсь, на землѣ, а развязка дѣйствительности очень часто переходит за предѣлы земного попрѣща!

Всемирную исторію можно сравнить съ волшебнымъ фонаремъ, въ которомъ показывается намъ въ сіяющихъ образахъ на темномъ фонѣ настоящаго, какъ благодѣтели челоѳчества, гениальные мученики шли тернистымъ путемъ славы.

Во все время, во всехъ странахъ сіяютъ передъ нами эти свѣтлые образы. Конечно, каждый образъ сіяетъ на нѣсколько мгновеній, сіяетъ какъ цѣлая жизнь, какъ цѣлый вѣкъ, со всеми его битвами и побѣдами.

Взглянемъ на нѣкоторыхъ изъ толпы мучениковъ, — толпы, которая только тогда окончится, когда распадется шаръ земной.

Смотрите.

Передъ нами амфитеатръ, онъ полонъ народа. Остроуміе и юморъ льются цѣлыми потоками на толпу изъ «Облаковъ» Аристофана: на сценѣ осмѣиваютъ Сократа, — того самаго Сократа, что былъ защитникомъ и опорой народа противъ тридцати тирановъ; того самаго, который спасалъ среди бѣшеной свалки въ битвѣ Алкивіада и Ксенофонта.

Вотъ онъ и самъ тутъ присутствуетъ: Онъ поднимается со скамьи зрителей и выступаетъ впередъ для того, чтобы смѣющіеся и потѣшающіеся аѳиняне могли лучше судить, сколько сходства между имъ и карикатурой на сценѣ. Вотъ стоитъ онъ передъ ними.

Разстели надъ Аѳинами тѣнь свою, сочная, зеленая, ядовитая цикута!

Семь городовъ спорили за честь считаться родиной Гомера, но это уже было послѣ его смерти.

А посмотримъ на него, пока онъ былъ живъ.

Онъ бродитъ пѣшкомъ изъ города въ городъ и декламируетъ свои стихи, чтобы этимъ раздобыть кусокъ хлѣба: отъ заботы о завтрашнемъ днѣ преждевременная сѣдина серебрить его кудри. Онъ, великій ясно-видецъ, ослѣпъ и съ трудомъ бредетъ по дорогамъ. Острыя тернія рвутъ дырявую обувь царя поэтовъ.

Одинъ образъ за другимъ поднимаются съ востока, съ запада; эти образы далеко другъ отъ друга и въ пространствѣ и во времени, но это все та же полоса тренистаго пути славы, на которомъ тогда только и вырастаютъ репейники, когда ими приходится украшать могилу.

Подъ пальмами тянутся тяжело нагруженные верблюды. Они нагружены индиго и другими дорогими сокровищами.

Это владыка страны шлетъ свои дары тому, чьи пѣсни стали отрадой цѣлаго народа, славою его родины.

Онъ теперь найденъ, этотъ поэтъ. Найденъ тотъ, кого зависть и клевета услали въ изгнаніе.

Караванъ приближается къ тому городку, гдѣ онъ нашель себѣ пріютъ и убѣжище.

Но изъ городскихъ воротъ выносятъ убогаго покойника, и караванъ долженъ остановиться, чтобы дать дорогу похоронной процессіи.

Этотъ убогій покойникъ и есть тотъ самый поэтъ, къ кому посланы были дары, — это Фирдуси.

Тернистый путь славы пройденъ до конца.

Въ столицѣ Португаліи, на мраморныхъ ступеняхъ крыльца сидитъ африканецъ съ крупными чертами, съ толстыми губами, съ черными кудрявыми волосами и проситъ милостыни.

Это вѣрный и преданный рабъ Камоэнса. Не будь этого раба и не будь мѣдныхъ грошей, что ему бросаютъ нѣкоторые прохожіе, его господинъ, пѣвецъ Лузіады, умеръ бы съ голода.

А теперь на могилѣ Камоэнса красуется пышный монументъ!

Еще образъ.

За желѣзной рѣшеткой показывается человекъ; онъ блѣденъ, какъ смерть; у него длинная исключенная борода.

— Я сдѣлалъ открытіе! — восклицаетъ онъ. — Я сдѣлалъ величайшее открытіе, а меня продержали за это здѣсь взаперти больше, чѣмъ двадцать лѣтъ!

— Что это за человекъ? — спрашиваютъ сторожа сумасшедшаго дома.

— Это умалишенный! — отвѣчаетъ сторожъ. — И на чемъ только люди не сходятъ съ ума! Вообразите вы себѣ, что онъ помѣшался на парѣ! Ха-ха-ха! Помѣшался на томъ, что паромъ можно двигаться!

Это Соломонъ де-Ко. Онъ открылъ силу пара, но высказалъ свою мысль въ неясныхъ словахъ и былъ не понятъ даже самимъ герцогомъ Ришелье.

Онъ умеръ въ домѣ умалишенныхъ.

А вотъ стоитъ Колумбъ, котораго когда-то такъ преслѣдовали и дразнили уличные мальчишки потому, что онъ собирался открыть новый свѣтъ.

И онъ открылъ этотъ новый свѣтъ.

Торжественные крики и колокольный звонъ несутся навстрѣчу при его побѣдномъ возвращеніи, но скоро трезвонъ зависти все заглушаетъ.

Того, кто открылъ новый свѣтъ, кто поднялъ изъ океана золотую американскую землю и подарилъ ее своему монарху, награждаютъ цѣпями.

Онъ пожелалъ унести эти цѣпи съ собой въ могилу : пусть онѣ свидѣтельствуютъ о томъ, какъ идутъ дѣла на бѣломъ свѣтѣ, и какъ современники цѣнять заслугу.

Образъ за образомъ такъ и толпятся. Тернистый путь славы не малолюдень.

Вотъ въ ночномъ мракѣ сидитъ тотъ, кто измѣрилъ горы на лунѣ, кто сквозь неизмѣримое пространство достигъ до звѣздъ и планетъ, тотъ, кто почувствовалъ, что земля движется у него подъ ногами, — Галилей!

Да, этотъ слѣпой и глухой старикъ, измученный, истерзанный, — это Галилей. Онъ уже не въ силахъ поднять ногу, — ту самую, которою когда-то онъ, въ минуту горькаго отчаянія, топнувъ, вскричалъ :

— А она все-таки движется!

А вотъ передъ нами стоитъ женщина. Простодушная, какъ дитя, вдохновенная, она твердою рукою несетъ знамя передъ сражающимся войскомъ и даруетъ своей родинѣ побѣду и спасеніе.

Несутся неистовые радостные крики, пылаетъ костеръ : Жанну д'Аркъ, колдунью, жгутъ.

И этого мало : слѣдующее столѣтіе кидаетъ грязью на бѣлую лилію. Вольтеръ, великій Вольтеръ воспѣваетъ « Орлеанскую дѣвственницу ».

На выборгскомъ народномъ собраніи датское дворянство сжигаетъ королевскіе законы. Высоко-высоко поднимается пламя и озаряетъ и вѣкъ и законодателя. Пламя это льется, какъ сіянье славы въ мрачную тюремную башню, гдѣ сидитъ сѣдой, сгорбленный, бывший владѣтель трехъ королевствъ, король, обожаемый своимъ народомъ, другъ гражданъ и крестьянъ, Христіанъ Второй. Враги его написали его исторію. Мы не забудемъ его двадцатисемилѣтней неволи.

Вотъ отплываетъ корабль отъ датскихъ береговъ; приклонясь къ мачтѣ, стоитъ человѣкъ и бросаетъ послѣдній взглядъ на островъ Хвень,—этотъ человѣкъ Тихо-де-Браге. Онъ прославилъ Данію, и за это его наградили горемъ, потерями, оскорбленіемъ. Онъ уѣзжаетъ въ чужую землю.

— Вѣдь всюду надо мной будетъ сводъ небесный, чего жъ мнѣ еще?—говорить онъ.

И уѣзжаетъ. И только въ чужомъ краю находить себѣ почетъ и свободу знаменитый датчанинъ.

— О освободиться! Только бы освободиться! Хотя бы отъ однихъ невыносимыхъ мукъ тѣлесныхъ освободиться!—несется къ намъ стонъ изъ дали временъ.

Чей это образъ?

Это Гриффенфельдъ, датскій Прометей, прикованный къ утесу острова Мункгольма.

Вотъ мы въ Америкѣ, на берегу одной изъ величайшихъ рѣкъ. Собралась безчисленная толпа народа. Поплыветъ, говорятъ, корабль противъ вѣтра и погоды, наперекоръ всѣмъ стихіямъ; человѣка, который взялся вести это дѣло, зовутъ Робертомъ Фультономъ.

Корабль трогается, но вдругъ останавливается.

Толпа громко хохочетъ, свиститъ, шикаетъ. Самъ родной отецъ Фультона свиститъ и глумится.

— Заносчивъ больно! Подѣломъ дурню! Теперь воздастся тебѣ, какъ слѣдуетъ! Посадятъ подъ замокъ полоумнаго болвана!

Но вотъ трескается маленькій гвоздикъ, который остановилъ было на время машину, колеса снова начинаютъ вертѣться, лопатки опять пересиливаютъ воду—пароходъ пошелъ! Паръ превращаетъ часы въ минуты повсюду, между всѣми странами свѣта.

Чувствуешь ли ты, родъ человѣческой, все блаженство той минуты, когда всякое отчаяніе, всѣ раны, полученныя на тернистомъ пути славы, — даже которыми мы обязаны лично самимъ себѣ, — вдругъ превращаются въ здоровье, въ силу и въ свѣтъ, когда дисгармонія переходитъ въ гармонію той минуты, когда люди вдругъ чувствуютъ, что имъ стало лучше и



легче чрезъ посредство одного человѣка, когда сознають, что этотъ одинъ сообщаетъ имъ новый свѣтъ и новую жизнь?

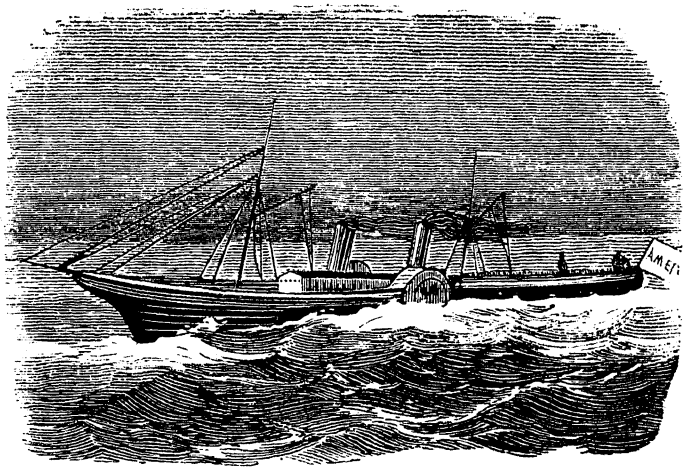
Тогда тернистый путь славы является въ сіяніи, которое озаряетъ всю землю.

Трижды счастливъ тотъ, кто удостоился изломать себѣ ноги на этомъ пути, кто хотя бы на полшага провелъ людей подальше, — поближе къ свѣту.

Геній исторіи несется на мощныхъ крыльяхъ сквозь столѣтія и указываетъ, утѣшая и ободряя, возбуждая болѣе кроткія мысли и чувства, на свѣтлые образы тернистаго пути славы, выступающіе на черномъ, ночномъ фонѣ.

Путь этотъ не заканчивается, какъ въ сказкахъ, благополучіемъ и радостями, здѣсь, на землѣ, нѣтъ, онъ идетъ за ея предѣлы, въ вѣчность.





Черезъ нѣсколько тысячъ лѣтъ.



а, черезъ нѣсколько тысячъ лѣтъ къ намъ уже будутъ прилетать изъ-за безбрежнаго океана по воздуху, на крыльяхъ пара.

Жители юной Америки сдѣлаются обычными посѣтителями старой Европы. Они будутъ пріѣзжать сюда ради памятниковъ, ради ея исчезающихъ въ то время городовъ, точно такъ же, какъ теперь мы ѣздимъ осматривать и изучать остатки былого величія южной Азии.

Да, черезъ нѣсколько тысячъ лѣтъ они пожалуютъ.

Все еще текутъ Темза, Дунай и Рейнь; все еще стоитъ величавый Монбланъ съ своей снѣжной вершиной, все еще блещутъ сѣверныя сіянія надъ сѣверными странами, но уже цѣлые ряды поколѣній обратились въ прахъ.

Много-много сильныхъ и славныхъ людей настоящаго времени давно позабыты, — позабыты точно такъ же, какъ и тѣ, что теперь лежатъ подъ могильнымъ холмомъ, надъ которымъ зажилъ хозяинъ, устроилъ себѣ скамью, чтобы тамъ сидѣть и оттуда любоваться на свои, волнующіяся при порывахъ вѣтерка, нивы.

— Въ Европу, — восклицаютъ юные сыны Америки, — въ страну нашихъ отцовъ, въ чудную страну фантазіи и замысловатыхъ памятниковъ, въ Европу!

Вотъ несется воздушный корабль. Онъ переполненъ путешественниками. Переѣздъ по воздуху вѣдь не въ примѣръ быстрѣе переѣзда по морю. Электромагнитная проволока уже телеграфировала подъ океаномъ, какъ великъ воздушный караванъ. Вотъ-вотъ уже видѣется Европа. Вотъ показался берегъ Ирландіи.

Но пассажиры еще спятъ. Они велѣли разбудить себя только тогда, когда уже будутъ летѣть надъ Англіей.

И вотъ они вступаютъ на европейскую землю въ странѣ Шекспира, какъ любятъ выражаться поэты, — странѣ политики, странѣ машинъ, какъ любятъ выражаться другіе, не поэты.

Тутъ путешественники остаются цѣлый день.

Вотъ сколько времени дѣловой американскій народъ можетъ удѣлить на великую Англію и поэтическую Шотландію!

Затѣмъ путешественники ѣдутъ дальше, черезъ тоннель, во Францію, въ страну Карла Великаго и Наполеона Бонапарта.

Путешественники поминаютъ Мольера, ученые разсуждаютъ про классическую школу глубокой древности.

Все веселятся и провозглашаютъ тосты въ честь героевъ, поэтовъ и людей науки, которые неизвѣстны

нашему времени, но къ тому времени народятся на кратерѣ Европы — въ Парижѣ.

Воздушный пароходъ проносится надъ страной, откуда вышелъ Колумбъ, надъ страной, гдѣ родился Кортесъ и гдѣ пѣлъ свои драмы Кальдеронъ колышущимися, словно волны, стихами. Здѣсь черноокія красавицы еще живутъ въ цвѣтушихъ долинахъ, и старинныя пѣсни напоминаютъ еще Сиду и Альгамбру.

По воздуху, черезъ безбрежное море, въ Италию, туда, гдѣ величественный вѣчный Римъ. Вѣчный Римъ исчезъ. Кампанья пустынна. Отъ собора святого Петра показываютъ всего на все одну развалившуюся стѣну, да и то еще сомнѣваются, точно ли она отъ знаменитаго собора.

Въ Грецію, чтобы переночевать одну ночь въ роскошной гостиницѣ на вершинѣ божественнаго Олимпа.

Это значить побывать въ Греціи.

Путь лежитъ дальше къ Босфору. Тамъ отдохнуть нѣсколько часовъ и посмотрѣть мѣстность, гдѣ когда-то стояла Византія. Тамъ, гдѣ преданье повѣствуетъ про роскошные сады турецкихъ гаремовъ, теперь плетутъ сѣти бѣдные рыбаки.

Вотъ пролетаютъ путешественники надъ остатками огромныхъ городовъ при могучемъ Дунаѣ, — городовъ въ наши времена неизвѣстныхъ, гдѣ уцѣлѣли слѣды памятниковъ, — тѣхъ памятниковъ, что возникаютъ теперь, или что еще возникать будутъ со временемъ.

Воздушный караванъ спускается внизъ, снова поднимается вверхъ.

Вонъ тамъ, внизу, лежитъ Германія, — Германія, когда-то обнесенная частою сѣтью желѣзныхъ дорогъ и каналомъ, — страна, гдѣ проповѣдывалъ Лютеръ, гдѣ пѣлъ Гёте, когда-то Моцартъ былъ царемъ звуковъ.

Великія имена, — имена еще намъ неизвѣстныя, — сіяютъ въ наукѣ и искусствѣ.

Одинъ день посвящаютъ путешественники Германіи и еще одинъ сѣверу, отечеству Эрштеда, родинѣ Линнея, потомъ Норвегіи, странѣ древнихъ богатырей и молодыхъ норманновъ.

Въ Исландію путешественники заглядываютъ на обратномъ пути. Гейзеръ больше не кипитъ, Гекла потухла, но крѣпкій скалистый островъ, эта каменная скрижаль сагъ, стоитъ попрежнему среди бушующаго моря.

— Однако еще есть вѣдь что посмотрѣть въ Европѣ! — говоритъ молодой американецъ. — И мы все дочиста осмотрѣли въ одну недѣлю. Оно, впрочемъ, и нетрудно по указанію великаго путешественника.

Тутъ называютъ одного изъ ихъ современниковъ.

Да, знаменитое сочиненіе «Способъ обозрѣть всю Европу въ одну недѣлю» — удивительная вещь!





Старая могильная плита.



Въ одномъ провинціальномъ городкѣ, у одного хозяина, имѣвшаго свой собственный домъ, въ то время года, когда вечера становятся длиннѣе и темнѣе, собрался разъ ввечеру весь его семейный кружокъ.

Было еще очень тепло. На столѣ горѣла лампа. Длинные занавѣси у открытыхъ оконъ спускались до самаго пола. Подоконники были уставлены цвѣточными горшками, а на дворѣ сіяла чудесная лунная ночь.

Но про лунную ночь никто не говорилъ, а говорили про старинный большой камень, что лежалъ на дворѣ, возлѣ самой кухонной двери.

Обыкновенно на этотъ камень служанки выставляли сушиться на солнцѣ мѣдную кухонную посуду, а дѣти очень любили вокругъ него играть.

Это собственно была старая могильная плита.

— Да, — сказала хозяйнѣ, — я полагаю, что этотъ ка-

мень со стариннаго монастырскаго кладбища. Оттуда продавались каеэдра, эпитафіи и могильныя плиты. Мой отецъ купилъ тогда много плитъ; ихъ разломали послѣ на куски для мощенія мостовой. Но эту плиту не трогали, и она съ тѣхъ самыхъ поръ все лежитъ тутъ на дворѣ.

— Оно и видно, что это могильная плита, — сказалъ старшій изъ дѣтей: — на ней еще видны песочныя часы и частичка ангела. Но надпись почти совсѣмъ стерлась; можно разобрать только имя *Пребенъ*, да еще большую букву *С*, да еще подальше *Марта*. Больше ничего не видать. Да и то-то можно разобрать только послѣ дождя, когда онъ хорошенько промоетъ плиту...

— Ахъ, Господи Боже мой, — вмѣшался одинъ старичокъ, такой старый старичокъ, что онъ могъ бы быть дѣдушкой всѣмъ присутствующимъ. — Ахъ, Боже мой! Да вѣдь это надгробный камень Пребена Шване и его жены! Да это была, кажись, послѣдняя пара, которую похоронили на старомъ монастырскомъ кладбищѣ. Они были оба почтенные люди; я помню ихъ, когда я еще былъ мальчишкой. Ихъ всѣ знали и любили.

«О нихъ говорили, что они богаты, что у нихъ не одинъ боченокъ золота припасенъ на черный день, но одѣвались они всегда очень просто. Всегда бывало платье изъ самой грубой матеріи. Только вотъ бѣлье было у нихъ просто ослѣпительной бѣлизны.

«Славные старики были Пребенъ и Марта! Когда они сидятъ, бывало, оба вотъ тамъ, на скамьѣ, наверху каменной лѣстницы своего дома, подъ развѣсистыми вѣтвями старой липы, и оттуда ласково кивнуть головой кому-нибудь, тотъ человѣкъ всегда уходилъ съ пріятнымъ чувствомъ.

«Они были очень жалостливы: кормили и одѣвали бѣдныхъ. Милостыня ихъ всегда бывала разумная и полезная.

«Старушка умерла прежде. Я очень живо еще помню этотъ день. Я былъ тогда еще маленькій мальчикъ, и отецъ взялъ меня съ собой къ старику Пребену. Мы были именно тамъ, когда старушка скончалась. Старикъ былъ невыразимо огорченъ и плакалъ, какъ ребенокъ.

«Тѣло еще лежало въ спальнѣ, рядомъ съ той комнатою, гдѣ мы сидѣли. Пребенъ началъ говорить съ моимъ отцомъ и съ другими сосѣдями, что къ нему собрались, про то, какой онъ теперь будетъ одинокій человекъ, какая добрая, хорошая была покойница, сколько лѣтъ они съ ней прожили вмѣстѣ и какъ они другъ друга узнали и полюбили.

«Я уже сказалъ вамъ, что я былъ тогда маленькимъ мальчикомъ; я стоялъ тутъ и только слушалъ, что говорятъ большіе, но я какъ-то просто содрогался отъ разсказа старика.

«Старикъ постепенно оживлялся и щеки его зарумянились, какъ онъ воспоминалъ тѣ далекіе прошлые дни, когда они были женихомъ и невѣстой, и какъ она хороша тогда была, какія разныя невинныя хитрости и уловки онъ употреблялъ, чтобы ему съ ней встрѣтиться.

«И разсказывалъ онъ про свою свадьбу, и глаза у него блестѣли. Онъ какъ будто снова переживалъ счастливое прошлое.

«А рядомъ въ комнаткѣ лежала она, мертвая, бѣдная старушка, и самъ онъ былъ хилъ, старъ, а говорилъ такъ горячо про времена силъ и надежды.

«Да, да! Такъ оно всегда и идетъ на бѣломъ свѣтѣ!

Тогда я былъ еще маленькимъ мальчикомъ, а теперь уже и я старъ, какъ Пребенъ Шване! Время бѣжитъ и все измѣняется. А я вотъ какъ теперь помню день, когда старушку хоронили; старый Пребенъ шелъ за самымъ гробомъ.

«Они еще заблаговременно, еще за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ, заказали себѣ надгробный памятникъ съ именемъ и надписью, только не вырѣзали пока года смерти.

«Вечеру этотъ камень свезли на монастырское кладбище и положили на могилу.

«А чрезъ годъ этотъ камень снова подняли, и старый Пребенъ улегся возлѣ своей подруги на вѣчный покой.

«Они вовсе не оставили такого богатства, какое все имъ приписывали. Что нашлось, то пошло въ семью какихъ-то ихъ дальнихъ родственниковъ, о которыхъ до тѣхъ поръ никто и не слыхивалъ.

«Старый ихъ домъ, что построено былъ изъ камня съ деревомъ и съ высокой каменной лѣстницей, гдѣ стояла скамья подъ развѣсистыми вѣтвями старой липы, сломали по распоряженію начальства: онъ былъ слишкомъ ветхъ и гнить, нельзя его было такъ оставлять дольше.

«Потомъ, когда та же участь постигла и старую монастырскую церковь, когда монастырское кладбище уничтожили, надгробный камень Пребена и Марты вмѣстѣ со всеѣмъ остальнымъ перешелъ къ покупателямъ.

«Ну, и вотъ такъ случилось, что этотъ надгробный камень не разбить въ куски, не пошелъ, какъ другіе, въ работу на мостовую, а все еще лежитъ вонъ тамъ, на дворѣ, и служить подставкой для судомоекъ и мѣстомъ веселыхъ игръ для дѣтей.

«Теперь надъ могилою стараго Пребена и его жены идетъ мощеная улица.

«Никто больше про нихъ не думаетъ!»

И старичокъ, что это рассказывалъ, грустно, очень грустно покачалъ головою.

— Позабыты, позабыты! Да, все будетъ позабыто! — сказалъ онъ.

Тутъ въ комнатѣ заговорили было про другое, но младшій хозяйскій сынъ, мальчикъ съ большими сѣрыми глазами, взлѣзъ на стулъ за оконными занавѣсками и сталъ глядѣть во дворъ, гдѣ мѣсяцъ ярко свѣтитъ на старый камень.

Прежде этотъ камень казался мальчику простымъ плоскимъ камнемъ, а теперь сталъ для него цѣлымъ большимъ листомъ старинной лѣтописи. Все, что мальчикъ слышалъ про Пребена и его жену, заключалось теперь въ этомъ камнѣ.

И мальчикъ глядѣлъ на него и глядѣлъ тоже на ясный мѣсяцъ и на прозрачное звѣздное небо.

— Позабыты! Все будетъ позабыто! — звучало въ комнатѣ.

И въ эту минуту словно какой-то голосъ проговорилъ мальчику:

— Сохрани вложенное въ тебя зерно, сохрани его въ цѣлости. Пусть оно возрастетъ. Черезъ тебя, дитя, стертая надпись и осиротѣлая надгробная плита дойдутъ до грядущихъ поколѣннй въ свѣтлыхъ золотыхъ чертахъ. Старики, мужъ съ женой, опять пойдутъ рука объ руку по старымъ улицамъ, станутъ улыбаться, сядутъ на высокую скамью на лѣстницѣ подъ липою и будутъ кивать головою богатому и бѣдному. Зерно, теперь брошенное, чрезъ много лѣтъ взойдетъ поэтическимъ созданиемъ. Хорошее, честное никогда не забудется: оно живетъ въ пѣснѣ, оно живетъ въ преданнн.



Дѣтская болтовня.



Въ прекрасномъ домѣ, у богатаго купца, собралась цѣлая дѣтская компанія. Тутъ были все дѣти людей богатыхъ и знатныхъ.

Купецъ, хозяинъ дома, былъ человѣкъ ученый: онъ когда-то выдержалъ университетскій экзамень.

Этого университетскаго экзамена пожелалъ его отецъ, добрый человѣкъ, который сначала торговалъ скотомъ, но былъ честенъ и дѣятеленъ.

Торговля шла хорошо у отца, онъ нажилъ деньги, а сынъ еще сумѣлъ принажить и своихъ.

Сынъ былъ человѣкъ умный и тоже съ сердцемъ, но объ его сердцѣ меньше говорили, чѣмъ объ его деньгахъ.

Съ купцомъ знали и водились знатныя особы, — особы, что называется, породистыя, такія, у которыхъ было и то и другое, но вмѣстѣ съ тѣмъ и такія, у которыхъ не было ни того ни другого.

На этотъ разъ, какъ уже сказано, у купца собралась дѣтская компанія, и завязалась дѣтская болтовня, а у дѣтей вѣдь извѣстно, что на умѣ, то и на языкѣ.

Въ числѣ прочихъ дѣтей была тутъ прехорошенькая маленькая дѣвочка. Но малютка эта была страшно горда. Ея отецъ имѣлъ счастье быть камеръ-юнкеромъ, а вѣдь это что-то чрезвычайно важное; малютка это знала.

— Я камеръ-юнкерская дочь! — говорила она. — Я камеръ-юнкерская дочь!

Она могла бы точно такъ же быть и дочерью подвального, вѣдь тутъ никто не властенъ, но она этого еще не соображала.

И рассказывала она прочимъ дѣтямъ, что она «благородная», и говорила, что кто не благородный, изъ того такъ ничего путнаго и не выйдетъ.

— Ужъ тутъ ничего не помогаетъ, — говорила она. — Если даже станешь стараться читать и будешь паньской, такъ все-таки, кто ужъ не благородный, такъ изъ того ничего не выйдетъ.

— А тѣ, чье имя кончается на *сенъ*, — продолжала она, — тѣ ужъ никуда не годятся. Ужъ изъ тѣхъ ровнехонько ничего не выйдетъ! Надо упираться руки въ бока и держать, какъ можно подальше отъ себя всѣхъ этихъ *сенъ*!

И при этихъ словахъ она уперла въ бока свои маленькія ручки и локотки согнула совсѣмъ клиномъ, чтобы показать, какъ это надо держать отъ себя подальше кого слѣдуетъ.

А ручки у нея были очаровательныя. Это была прелесть что за дѣвочка.

Но маленькая купцова дочь чрезвычайно оскорбилась рѣчью камеръ-юнкерской дочери. Ея отца звали

Петерсенъ, значить, отецъ ея тоже кончался на *сень*, значить, онъ тоже никуда не годится, изъ него тоже ничего не выйдетъ.

Купеческая дочь сказала такъ надменно и гордо, какъ только могла:

— Но мой папа можетъ купить конфѣтъ на сто талеровъ, и всѣ ихъ бросить дѣтямъ. А твой папа можетъ?

— А мой папа можетъ и твоего папу, и твоего папу, и всѣхъ папъ прописать въ газетѣ! Моего папу всѣ боятся, говоритъ мама, потому, что мой-то папа управляетъ газетой!

И дочурка газетнаго писакаки глядѣла при этомъ такъ высококомѣрно, словно она настоящая какая-нибудь принцесса, которой ужъ и опредѣлено смотрѣть высококомѣрно.

А за дверями стоялъ въ это время бѣдный мальчикъ и смотрѣлъ въ дверную щель.

Онъ былъ такъ бѣденъ, такъ ничтоженъ, что даже не смѣлъ войти въ великолѣпную комнату вмѣстѣ съ другими дѣтьми.

Онъ вертѣлъ кухаркѣ вертелъ съ жаркимъ и за это кухарка позволила ему постоять за дверью и поглядѣть на разряженныхъ дѣтей, какъ они тамъ рѣзвятся и веселятся, а это для него было ужъ очень много.

«Если бы мнѣ быть такимъ, какъ они!» думалъ мальчикъ и услыхалъ, что тамъ говорятъ.

А то, что онъ услыхалъ, ужъ, разумѣется, не очень-то его развеселило.

Дома, у его родителей, не было ни единой полушки, которую они могли бы отложить въ сторону и завести потомъ газету. А ужъ про писанье въ газетѣ и говорить нечего.

А что всего хуже, фамилія его отца тоже кончалась на *сенъ*, — изъ него, стало-быть, ужъ «ровнехонько ничего не выйдетъ».

Вотъ это было горько — такъ горько!

Съ тѣхъ поръ, съ того вечера, о которомъ у насъ только что шла рѣчь, прошло много лѣтъ, и дѣти сдѣлались взрослыми людьми.

Стоялъ въ городѣ великолѣпнѣйшій домъ, весь переполненный наичудеснѣйшими вещами и всякими драгоценностями. Всѣ желали этотъ домъ видѣть; даже и тѣ, которые жили за городомъ, нарочно шли для этого въ городъ.

Кому бы изъ тѣхъ дѣтей, про которыхъ мы рассказали, могъ принадлежать этотъ домъ?

Вѣдь это очень легко узнать.

Ну, нѣтъ, вовсе оно не такъ легко, какъ это кажется.

Домъ принадлежитъ тому маленькому, бѣдному мальчику, который съ позволенія кухарки стоялъ въ тотъ вечеръ за дверями.

Изъ него, однако, вышло кое-что, хотя его фамилія и кончалась на *сенъ* — Торвальдсенъ!

А трое остальныхъ дѣтей? Дѣтей знати, роскоши и высокомѣрія?

Что жъ, имъ не въ чемъ было упрекать другъ друга, они были всѣ равные, — изъ нихъ вышло то, что должно было выйти изъ прекрасно-одаренныхъ дѣтей.

А что они когда-то говорили, такъ это все была одна только дѣтская болтовня.



Колокольный сторожъ Оле.

Все на свѣтѣ кружится и вертится, все идетъ вверхъ и внизъ, внизъ и вверхъ! — говорилъ колокольный сторожъ Оле. — Теперь я ужъ не могу выше подняться! Рѣдко кому изъ насъ доведется побывать вверху и внизу! А въ концѣ-концовъ мы всё, пожалуй, становимся колокольными сторожами и смотримъ на людей и на вещи сверху внизъ!

Такъ говорилъ пріятель мой Оле, старый сторожъ, презамѣчательнѣйшій, преинтереснѣйшій чудачина, любившій какъ будто поболтать, и который, казалось,

все до капли вамъ говорилъ, а между тѣмъ много серьезнаго скрывалъ въ самой глубинѣ сердца.

Да, мой пріятель Оле родился отъ хорошихъ родителей. Иные даже говорили, что онъ сынъ одного тайнаго совѣтника, или, по крайней мѣрѣ, могъ бы имъ быть.

Оле тоже и учился. Онъ былъ помощникомъ учителя, помощникомъ кистера, а къ чему все это его повело?

Онъ жилъ у кистера на всемъ готовомъ, да былъ еще вдобавокъ къ тому, что называется, молодой чело-вѣкъ, — щеголь.

Ему непремѣнно надо было, чтобы сапоги у него самымъ прелестнымъ образомъ были вычищены блестящей ваксой, а кистеръ давалъ только деготь, и на этомъ-то пунктѣ они и повздорили. Одинъ заговорилъ про скупость, другой — про тщеславіе.

Вакса сдѣлалась черной основой ихъ вражды, и они въ гнѣвѣ разстались.

Чего Оле требовалъ отъ кистера, того же самаго требовалъ онъ и отъ всего свѣта вообще. Онъ требовалъ блестящей ваксы, а получалъ только деготь.

Поэтому - то онъ, наконецъ, и удалился отъ свѣта и сдѣлался совершеннымъ пустыннымъ.

Но въ большомъ городѣ пустыню, должность и хлѣбъ, взятыя вмѣстѣ, можно найти только на колокольнѣ.

Оле именно и поднялся на колокольню, обходилъ ее и во время этого одинокаго обхода покуривалъ трубочку.

Онъ смотрѣлъ вверхъ, смотрѣлъ внизъ, размышлялъ и рассказывалъ, что онъ видѣлъ и чего не видалъ, что онъ прочелъ въ книгахъ и что внутри самого себя.

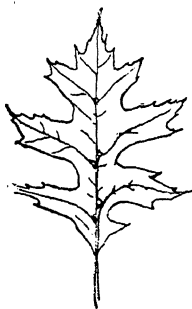
Я часто давалъ ему книги, и книги очень хорошия, а человѣка вѣдь узнають по тому, съ кѣмъ онъ водится.

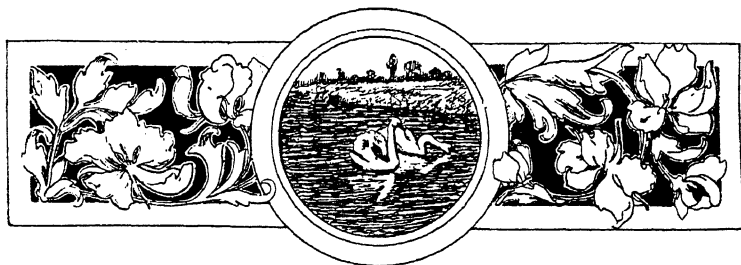
Оле не любилъ ни англійскихъ гувернатскихъ романовъ ни французскихъ, которые онъ величалъ кашей изъ сквозного вѣтра и изъ обобранныхъ вѣточекъ изюма. Нѣтъ, у Оле былъ другой вкусъ: ему все бы біографіи да книги о чудесахъ вселенной.

Я посѣщалъ Оле, по крайней мѣрѣ, разъ въ годъ. Обыкновенно я это дѣлалъ тотчасъ же послѣ Новаго года.

Въ эту пору онъ всегда бывалъ словоохотливѣе и говорилъ про все, что ему только приходило въ голову.

Я расскажу вамъ три свои посѣщенія и передамъ, если только сумѣю, его собственныя слова.





Первое посѣщеніе.

Я давалъ Оле много книгъ, какъ я уже упоминалъ; изъ тѣхъ, что были ему даны за послѣднее время, ему особенно понравилась одна — о валунахъ. Книга эта его очень заняла.

— Да, — говорилъ Оле, — да, валуны это настоящіе, заслуженные ветераны. А мы-то! Ходимъ себѣ мимо нихъ и ни о чемъ не думаемъ. Это случилось со мной самимъ, случилось и на полѣ и на морскомъ берегу, гдѣ ихъ навалены цѣлыя кучи. А по мостовой на улицѣ, по булыжникамъ, этимъ обломкамъ древнѣйшихъ остатковъ первобытныхъ временъ, тоже вѣдь ходимъ безъ всякой церемоніи! И это со мной случилось, то-есть, случилось, что я тоже не церемонился.

Но теперь я смотрю съ почтеніемъ на каждый камень на мостовой.

Покорнѣйше благодарю за книгу; эта книга заставила меня много думать и таки произмѣнила кое-какіе мои старыя взгляды и привычки. Эта книга, такъ сказать, меня пораззадорила. Хотѣлось бы мнѣ еще почитать что-нибудь въ этомъ родѣ. Вѣдь романъ земли

ужь, навѣрно, самый замѣчательный изъ всѣхъ романовъ. Жаль только, что нельзя прочесть первыхъ главъ, потому что эти главы написаны на такомъ языкѣ, которому мы не учились,—приходится разбирать текстъ въ земляныхъ пластахъ, въ камняхъ, во всѣхъ періодахъ земли, а тутъ еще являются такіа дѣйствующія лица, какъ господинъ Адамъ и госпожа Ева. Они являются въ шестой главѣ! Для очень многихъ читателей это ужь черезчуръ поздно, — имъ хотѣлось бы ихъ встрѣтить въ первой главѣ,—а по-моему и такъ хорошо.

Да, это романъ, романъ, исполненный самыхъ занимательныхъ приключеній, романъ, въ которомъ всѣ мы являемся на сцену. Мы копошимся, мы тормозимся, мы суетимся, а все-таки остаемся на томъ же мѣстѣ. Но шаръ, слава Богу, вертится, а океанъ не заливаешь насъ. Мы движемся по глыбѣ, которая достаточно-таки тверда, и мы не проваливаемся черезъ нее насквозь,—ну, и потомъ вся эта исторія, что тянется ужь милліоны лѣтъ и все еще продолжается.

Покорнѣйше благодарю васъ за книгу о валунахъ. Вотъ молодцы, такъ молодцы! Чего бы только они не рассказали, если бы они вообще могли рассказывать.

Знаете, истинное вѣдь это удовольствіе быть время отъ времени цифрой нуль, въ особенности когда смотришь такъ высоко, какъ я, и припоминать при этомъ, что всѣ мы, кто ни стоитъ, даже и тѣ, съ глянцева-той-то ваксой, не что иное, какъ минутные муравьи на земляной кучѣ. Да, муравьи, хотя бы даже муравьи съ орденскими лентами, съ почетными мѣстами, титулами и входами.

Просто чувствуешь себя молокососомъ, ничтожествомъ послѣ этихъ почтенныхъ валуновъ, которымъ исполнились милліоны лѣтъ.

Я читалъ эту книгу ввечеру подь Новый годъ, и я такъ углубился въ чтение, что даже позабылъ свое обычное новогоднее увеселеніе — свой дикій поѣздъ въ «Амакъ».

Но вы, вѣроятно, и понятія не имѣете, что это такое Амакъ, или поѣздъ на Амакъ?

Что вѣдьмы ѣздятъ верхомъ на метлѣ на Брокенъ въ Иванову ночь, это всѣ знаютъ очень хорошо, но у насъ есть свой собственный дикій поѣздъ; онъ нашъ отечественный, онъ принадлежитъ не прошлому, а новому времени; онъ совершается въ Амакъ, — Амакъ — это отдаленная часть города Копенгагена, — подь Новый годъ.

Всѣ плохіе поэты, всѣ повѣсы, музыканты, газетные писаки и художественныя знаменитости, — всѣ тѣ, которые никуда не годятся, въ ночь подь Новый годъ ѣздятъ по воздуху въ Амакъ.

Они сидятъ верхомъ на своихъ кистяхъ или гусиныхъ перьяхъ.

(Стальные перья не въ употребленіи, — стальные перья слишкомъ жестки.)

Я, какъ ужъ и имѣлъ честь вамъ докладывать, вижу это всякій разъ въ ночь подь Новый годъ. Я могъ бы назвать по имени большую часть всадниковъ, да не желаю накликать на себя ихъ вражду и потому не назову.

Они не любятъ, чтобъ люди знали что-нибудь про ихъ поѣздки въ Амакъ на гусиныхъ перьяхъ.

У меня есть что-то въ родѣ племянницы, какая-то дочь сестры, которая торгуетъ рыбой и поставляетъ, по ея увѣренію, брань и ругательства въ три чрезвычайно уважаемыя газеты. Ну, вотъ эта-то самая племянница была тоже въ Амакъ въ качествѣ гостыи; сама она не владѣетъ перомъ и верхомъ ѣздить не мо-

жеть; а потому ее туда привезли. Она мнѣ все и рассказала.

Половина того, что она говорить, — ложь, но для нашего поученья достаточно исполнѣ и остальной половины.

Когда она тамъ была, такъ праздникъ начался пѣніемъ, каждый участникъ сочинилъ свою собственную пѣсню и каждый пѣлъ тоже свою собственную, — вѣдь это самая лучшая.

Все шло согласно, вездѣ была одинаковая гармонія.

Затѣмъ явились на сцену небольшіе отрядцы — тѣ молодцы, что работаютъ только языками, словно маленькіе колокола, трезвонящіе по очереди.

Затѣмъ явились мелкіе барабанчики, что барабаниять въ семейныхъ кружкахъ.

И тотчасъ же завязываютъ знакомство и разговоры съ тѣми писателями, что пишутъ, не выставляя своего имени, то-есть употребляютъ вмѣсто блестящей ваксы деготь.

Быль тутъ и палачъ съ своимъ помощникомъ; худшій изъ нихъ двухъ былъ этотъ помощникъ, потому что иначе вѣдь на него не обратили бы вниманія.

Быль тутъ и метельщикъ улицъ съ своей тачкой, добрый человекъ, который опрокидываетъ кадку съ соромъ и говорить:

— Хорошо! Очень хорошо! Отлично!

Пока шло все это веселье, изъ громадной падальной ямы въ Амакѣ вдругъ поднялся стебель не стебель, дерево не дерево, какой-то чудовищный цвѣтокъ, огромнѣйшій земляной грибокъ, — цѣлая кровля.

То была змѣя, искусительница достопочтеннѣйшаго собранія.

На ней висѣло все, что они подарили міру за весь прошлый годъ. Изъ дерева сыпались огненными снопами искры, — то были краденныя у другихъ мысли, заимствованныя идеи, которыя теперь отрывались отъ нихъ и цѣлымъ фейерверкомъ улетали прочь.

Играли въ игру «дубинка горитъ», а маленькіе поэтики играли въ другую — «сердце горитъ». Острияки остряки, и остроты сыпались съ такимъ громомъ, словно пустые горшки били о дверь.

— Чудо, какъ было весело, — рассказывала моя племянница.

Она... коли признаться, такъ она рассказывала еще много и такого, что было чрезвычайно зло и чрезвычайно забавно, но я не стану этого передавать, по-моему, слѣдуетъ быть добрымъ человѣкомъ, а не какимъ-нибудь язвительнымъ резонеромъ.

Но вы, разумѣется, поймете, что ужъ разъ узнавъ, какъ я узналъ, что надо думать насчетъ праздника въ Амакѣ, всякій станетъ ждать ночи подъ Новый годъ, чтобы увидать, какъ помчится дикій поѣздъ.

Если иной годъ я не вижу нѣкоторыхъ изъ тѣхъ, кто прежде участвовалъ въ поѣздѣ, зато я вижу другихъ, новыхъ.

Но въ этомъ году я пропустилъ случай взглянуть на поучительный поѣздъ, — я укатился на валунахъ, прокатилъ черезъ цѣлые миллионы лѣтъ, видѣлъ, какъ тамъ, на дальнемъ сѣверѣ, отрывались камни, видѣлъ, какъ они неслись на ледяныхъ глыбахъ, — неслись задолго до того времени, какъ былъ построенъ Ноевъ ковчегъ, — видѣлъ, какъ они опускались на дно морское и какъ всплывали потомъ опять наверхъ вмѣстѣ съ песчаной отмелью, которая выдвигалась изъ воды и сказала: «Это будетъ Зеландія».

Я видѣлъ, какъ они становились отчизною такихъ птицъ, которыхъ мы не знаемъ, резиденціей такихъ князьковъ, которыхъ мы тоже не знаемъ, какъ, наконецъ, топоръ нарубилъ на иныхъ руническіе знаки и они потомъ дожили до временъ лѣтосчисленія.

Но я-то самъ при этомъ очутился внѣ всякаго лѣтосчисленія и просто превратился въ нуль, въ ничто.

Но тутъ упали три-четыре чудныхъ звѣзды; эти звѣзды снова все освѣтили и дали мыслямъ другой полетъ.

Вы вѣдь, вѣрно, знаете, что такое падающая звѣзда? Впрочемъ, ученые этого не знаютъ!

У меня свои собственныя понятія насчетъ этихъ звѣздныхъ падунчиковъ, какъ ихъ зовутъ въ иныхъ мѣстахъ народъ, и я вотъ какъ начну:

Какъ часто втайнѣ благодарятъ и благословляютъ того, кто совершилъ что-нибудь доброе и прекрасное! Эта благодарность, это благословеніе чаще всего бываютъ бесполезны, но онѣ не пропадаютъ. Я представляю себѣ, что тотъ человѣкъ родился отъ солнца, и что солнечный лучъ снесетъ эту безмолвную, скрытую благодарность и тихое благословеніе на его голову.

А если эту благодарность, это благословеніе шлетъ цѣлый народъ въ продолженіе столѣтій, тогда они являются въ видѣ букета пышныхъ цвѣтовъ и падучей звѣздой падаютъ на его могилу.

Для меня огромное удовольствіе видѣть падающую звѣзду, особенно видѣть ее въ ночь подъ Новый годъ. Я тогда начинаю придумывать: къ кому относится этотъ благодарственный букетъ?

Недавно упала свѣтящаяся звѣзда на юго-западѣ — благодарность и благословеніе многимъ-многимъ!

Къ кому бы могла относиться эта звѣзда?

«Она, вѣрно, упала,—думалъ я,—на отлогость фленсбургской бухты, тамъ, гдѣ развѣвается датское національное знамя,—упала надъ могилами Шлеппегрельса, Лессеэза и ихъ товарищей».

Одна звѣзда скатилась на самую средину Данин, на Соре. То упалъ букетъ на могилу Гольберга, годичное благодарственное приношеніе отъ многихъ за его чудныя комедіи.

Знать, что на нашу могилу упадетъ звѣзда,—это несказанная радость.

На мою могилу, конечно, не упадетъ никакой звѣзды, никакой солнечный лучъ не принесетъ мнѣ ни благодарности ни благословенія, потому что тутъ не за что ни благодарить ни благословлять.

— Не достать мнѣ блестящей ваксы! — прибавилъ Оле. — Не достать. Мой удѣлъ на землѣ — деготь.





Второе посещение.



Дѣло было на Новый годъ, въ первый день.

Я взлѣзъ на колокольню.

Оле говорилъ про тосты, которые предлагаются при переходѣ изъ стараго года въ новый, — изъ одной цѣдилки въ другую, какъ онъ выражается.

При этомъ онъ разсказалъ мнѣ для забавы свою исторію о стаканахъ, — исторію, полную глубокаго смысла.

Вотъ эта исторія.

Когда въ ночь подъ Новый годъ часы бьютъ полночь, всѣ встаютъ изъ-за стола съ полными стаканами въ рукахъ и выпиваютъ вино и кричатъ громко «ура» Новому году.

Новый годъ начинаютъ съ стаканами въ рукѣ, — прекраснѣйшее начало для пьяницы.

Годъ начинаютъ съ того, что ложатся спать, — прекраснѣйшее начало для лѣбтяя!

Сонъ и безъ того уже играетъ большую роль въ теченіе года, стаканы тоже.

— Да вы знаете, что сидитъ въ стаканахъ?—спросилъ Оле.—Въ стаканахъ сидитъ здоровье, веселье и безконечное опьяненіе чувствъ — въ стаканахъ сидятъ непріятности, печаль и самыя жесточайшія несчастія.

Перечтемъ-ка стаканы. Само собою разумѣется, что въ стаканахъ я считаю градусы разныхъ людей.

Смотрите, вотъ первый стаканъ.

Это стаканъ здоровья, въ немъ растетъ трава здоровья. Поставь его на бревно и къ концу года будешь сидѣть въ бесѣдкѣ здоровья.

А когда ты возьмешь второй стаканъ, изъ него поднимется маленькая пташка, которая щебечетъ и чирикаетъ такъ невинно-весело, что человѣкъ заслушивается ея щебетанья и чириканья и можетъ запѣть вмѣстѣ съ ней: «Хорошо жить на свѣтѣ! Зачѣмъ ты носъ повѣсилъ? Все нечего унывать! Бодрѣй, веселѣй, живѣй вперед!»

Изъ третьяго стакана поднимается крылатый, крошечный человѣчекъ; этого человѣчка не назовешь, конечно, ангельчикомъ, потому что у него въ жилахъ течетъ кровь домового, да и нравомъ-то онъ сущій домовый. Онъ садится тебѣ за ухо и нашептываетъ разныя развеселыя штуки, онъ ложится тебѣ на сердце и такъ согрѣваетъ тебя, что ты кончишь тѣмъ, что непременно «расходишься», какъ говорится, и станешь развеселой головой, какъ называютъ это мудрыя головы.

Въ четвертомъ стаканѣ нѣтъ ни травы, ни пташки, ни человѣка,—въ немъ пограничная черта разсудка и

за эту черту никогда, по-моему, переступать не слѣдуетъ.

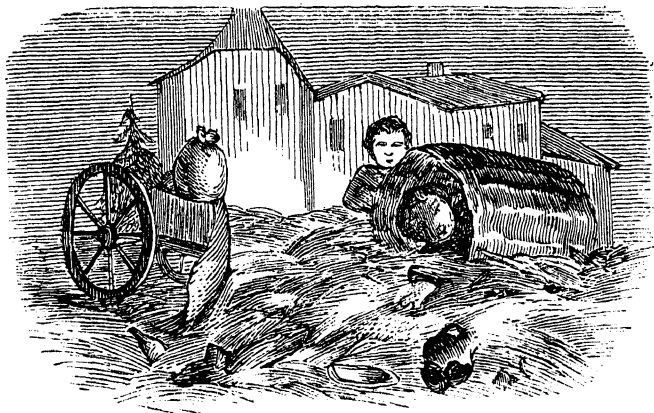
Возьми пятый стаканъ и ты начнешь плакать, и будешь такой умиленный, такой растроганный. А не то затрепещитъ совѣтъ иная музыка. Изъ стакана выпрыгнетъ принцъ карнаваль, веселый до бѣшенства, не знающій мѣры ликованью. Онъ утянетъ тебя съ собою, и ты забудешь собственное свое достоинство, коли оно у тебя имѣется, ты забудешь больше, чѣмъ можно и должно. Тебѣ будетъ повсюду вокругъ представляться пляска, пѣсни и звонъ; маски потянутъ тебя за собой, дочери дьявола въ газѣ, въ шелку, съ распущенными волосами, съ очаровательнымъ тѣломъ оцѣпятъ тебя, — вырвись отъ нихъ, если можешь.

Шестой стаканъ! Въ шестомъ стаканѣ сидитъ самъ сатана, крошечный, хорошо одѣтый, привлекательный, чрезвычайно пріятный человѣкъ, который оправдываетъ тебя во всемъ. У него есть фонарь, которымъ онъ свѣтитъ, когда провожаетъ тебя домой.

Когда человѣкъ и дьяволъ смѣшаютъ свою кровь, это и будетъ шестой стаканъ. Отъ шестого стакана всходятъ внутри насъ всѣ дурныя сѣмена, и каждое растетъ съ мощью библейскаго горчичнаго зерна, и вырастаетъ цѣлымъ деревомъ, и распространяется надъ цѣлымъ свѣтомъ, и тогда большинству людей остается только отправиться въ плавильную печь и тамъ переплавиться во что-нибудь другое.

— Вотъ исторія о стаканахъ, — добавилъ колокольный сторожъ Оле, — ее можно, какъ нельзя лучше, выдавать вмѣстѣ съ блестящей ваксой или дегтемъ, смотря по желанію.

Я выдаю ее и съ тѣмъ и съ другимъ.



Третье посещение.



На этот раз я поднялся къ Оле въ день всеобщаго переѣзда, потому что тогда не очень-то пріятно на городскихъ улицахъ: онѣ сплошь тогда завалены соромъ, черепками и всякими обломками, не говоря уже про выкинутую изъ тюфяковъ солому, черезъ которую надо переправляться въ бродъ.

Я подошелъ къ кучѣ соломы какъ разъ въ то время, когда двое дѣтей вздумали играть въ этомъ морѣ сора; они играли въ игру «ляжемте въ постель», имъ казалось, что нѣтъ лучшаго мѣста для этой игры, — оно точно приглашало ихъ тутъ расположиться, — и они забивались въ разсыпанную солому и натягивали на себя обрывокъ стараго ковра вмѣсто одѣяла.

— Вотъ прелесть, такъ прелесть! Чудо, что такое! — говорили они.

Я не могъ дольше глядѣть на эту игру, да и къ тому же мнѣ надо было итти на колокольню къ Оле.

— Сегодня день переѣздовъ и переборокъ,—сказалъ Оле.— Улицы и переулки словно сорная бочка, огромнѣйшая сорная бочка.

Съ меня, однакоже, достаточно будетъ и одного воза. Я и изъ него кое-что добуду. Разъ, вскорѣ послѣ Рождества, я, дѣйствительно, нашелъ тамъ очень многое. Я шелъ по улицѣ, было сыро, мокро, грязно— настоящая погода для насморковъ. Тутъ стоялъ уличный метельщикъ съ своей тачкой, которая была полнехонька сора. Позади тачки стояла елка, еще совѣмъ зеленая и съ разной мишурою на вѣткахъ. Эта елка была на праздникѣ подѣ Рождество, а теперь ее выбросили на улицу и метельщикъ поставилъ ее позади тачки.

Глядя на эту рождественскую елку, можно было смѣяться, а пожалуй, такъ можно было и плакать, смотря по тому, что въ это время подумаешь, а я—таки кое-что подумалъ,—и ужъ, разумѣется, подумалъ про то и про другое, что свалено было въ тачкѣ, или, по крайней мѣрѣ, могъ подумать, а это вѣдь почти одно и то же.

Тутъ лежала старая дамская перчатка,—про что она думала?

Сказать вамъ?

Перчатка указывала мизинцемъ на елку и думала: «Жаль мнѣ дерева! И я тоже была на праздникѣ съ люстрами! Моя жизнь была одной большой ночью. Одно пожатіе руки—и я лопнула. На этомъ и останавливаются мои воспоминанія, и нѣтъ у меня больше ничего такого, чѣмъ бы можно жить!»

Вотъ что думала или могла думать перчатка.

— Какъ это глупо со стороны елки!—говорили черепки,—у черепковъ все, что имъ ни встрѣтится, глупо.—Какъ это глупо со стороны елки! Ужъ коли кто попалъ въ сорную тачку, такъ ужъ тому нечего

выпячиваться и хвастаться мишурой! Я знаю, что я былъ очень полезенъ на этомъ свѣтѣ, полезнѣе этой зеленой палки!

То былъ тоже «свой взглядъ на вещи», и такихъ «взглядовъ» не мало.

Но елка смотрѣла такъ хорошо, что казалась капельной поэзиі на грудѣ сора, а сора-то, говоря по правдѣ, бываетъ ужасно много въ день переѣздовъ и переборокъ.

Да, ужасно много. Дорога становится куда какъ трудна и тяжела, и тогда я поскорѣе спѣшу прочь, вонъ изъ этой неурядицы, а если я въ то время на колокольнѣ, то остаюсь тамъ, наверху, и посмѣиваюсь, глядя сверху внизъ.

Вотъ добрые люди играютъ въ игру «на новую квартиру». Они тащатся и пылятся вмѣстѣ съ своими пожитками, а домовой ходитъ на старой бочкѣ и переѣзжаетъ тоже вмѣстѣ съ ними; съ ними вмѣстѣ переѣзжаютъ тоже все мелкія квартирныя и семейныя бѣдствія, а также и дѣйствительныя заботы и скорби — все перебирается изъ стараго жилища въ новое.

И что же пользы выходитъ и для насъ и для нихъ изъ всей этой исторіи?

Это ужъ давнымъ-давно сказано въ одной старой хорошей поговоркѣ: «Помни переѣздный день смерти!»

Эта мысль серьезная, — вамъ не слишкомъ непріятно, что я ее затрогиваю?

Смерть была, есть и будетъ самый надежный чиновникъ, невзирая на множество другихъ постороннихъ дѣлъ. Да, смерть — кондукторъ при омнибусѣ, она строитъ паспорта, свидѣтельствуетъ нашъ служебный списокъ и служить директоромъ большой сберегательной кассы жизни!

Понимаете?

Мы вносимъ въ эту кассу все дѣла нашей земной жизни, большія и малыя, крупныя и мелкія, а когда потомъ прїѣдетъ смерть съ своимъ переѣзднымъ omnibusомъ, и мы туда войдемъ и поѣдемъ вмѣстѣ съ нею въ страну вѣчности, она выдастъ намъ на границѣ нашъ служебный списокъ въ видѣ паспорта.

Вмѣсто харчевыхъ денегъ она беретъ изъ сберегательной кассы то то, то другое изъ совершенныхъ нами дѣлъ и вручаетъ намъ; иной разъ это очень прїятно, а иной разъ просто ужасно.

Еще никто не ушелъ отъ этой omnibusной поѣздки.

Правда, рассказываютъ про одного, которому будто бы не было позволено ѣхать совсѣмъ, — это вѣчный жидъ. Онъ, вишь, долженъ бѣжать позади omnibуса, а если бы ему позволили сѣсть туда, такъ онъ ушелъ бы тогда изъ рукъ у поэтовъ.

Загляни-ка мысленно въ этотъ великій переѣздный дилижансъ, что за смѣшанное общество! Король и нищій, идиотъ и гений сидятъ рядышкомъ; они должны ѣхать вмѣстѣ безъ денегъ, безъ пожитковъ, съ однимъ только служебнымъ спискомъ и съ денежкой изъ сберегательной кассы.

Которое изъ нашихъ дѣлъ выбираютъ и отпускаютъ вмѣстѣ съ нами?

Можетъ статья, самое крошечное, забытое, не записанное, всего на все въ какую-нибудь горошинку, — но и горошинка можетъ пустить цвѣтушіе ростки.

Бѣдный простакъ, что сидѣлъ на низкой скамеечкѣ въ уголку, котораго осыпали бранью и угощали толчками и затрепинами, можетъ-быть, получить эту самую ветхую скамеечку, вмѣсто харчевыхъ денегъ, и скамеечка эта превратится въ странѣ вѣчности въ бле-

стящій, великолѣпнѣйшій тронъ, въ пріютъ изъ свѣжей зелени и благоухающихъ цвѣтовъ.

Тотъ, кто никогда въ жизни не моталъ и отроду не хлебнулъ настойки изъ удовольствій, для того, чтобы забыть все, что кривое и косое, что онъ здѣсь творилъ, получить жбанъ на дорогу и будетъ пить изъ него во время омнибусной поѣздки, и такъ чистъ и свѣтелъ будетъ этотъ напитокъ, что всѣ мысли уцѣлѣютъ, всѣ добрыя чувства проснутся, и онъ увидитъ и ощутитъ то, чего прежде не хотѣлъ или не могъ видѣть и ощущать. И тогда въ немъ заведется гложущій червь, который не умретъ вовѣки. Если на стаканѣ у него стояла надпись «забвеніе», то на жбанѣ будетъ написано «воспоминаніе».

Когда я читаю книгу, какое-нибудь дѣльное историческое сочиненіе, то всякій разъ, какъ дочитаю до конца, начинаю думать о поэзии и объ омнибусѣ смерти — о томъ, которое изъ дѣлъ дѣйствующаго лица вынетъ смерть изъ сберегательной кассы, какія харчевыя деньги она выдастъ ему на дорогу въ вѣчность.

Однажды во Франціи былъ король, — я забылъ его имя (имена добрыхъ людей часто забываютъ люди, въ томъ числѣ и я, но эти имена все-таки всплываютъ со временемъ), — такъ былъ король во Франціи, который во время голода сдѣлался благодѣтелемъ своего народа, и народъ воздвигнулъ ему монументъ изъ снѣга съ такой надписью:

«Ты приносилъ помощь скорѣе, чѣмъ онъ таетъ».

Я полагаю, что смерть, видѣвши этотъ монументъ, выдала помянутому королю вмѣсто харчевыхъ денегъ снѣжный охлопокъ, но такой, который никогда не растаетъ, и этотъ охлопокъ полетѣлъ въ видѣ бѣлой бабочки въ страну безсмертія.

Да, поѣздка въ омнибусѣ въ великій день переѣзда — серьезная поѣздка!

А когда придетъ ей пора?

Вотъ въ томъ-то и дѣло, что каждый день, каждый часъ, каждую минуту надо ожидать неумолимаго омнибуса!

Которое изъ нашихъ дѣлъ вынетъ смерть изъ берегательной кассы и выдастъ намъ на дорогу?

Послушайте: станемъ-ка мы думать про переѣздный день, — про тотъ, о которомъ не упомянуто въ календарѣ.





Роза съ Гомеровоу могилау.

Во всѣхъ восточныхъ пѣсняхъ воспѣвается любовь соловья къ розѣ. Въ тиши звѣздныхъ ночей крылатый пѣвецъ поетъ серенады своей благоухающей очаровательницѣ.

Неподалеку отъ Смирны, тамъ, гдѣ подъ высокими чинарами купецъ гонитъ навьюченныхъ верблюдовъ, гордо вытягивающихъ длинныя шеи и тяжело ступающихъ по священной землѣ, видѣлъ я цвѣтущій розовый кустъ. Дикіе голуби перепархивали между вѣтвями высокихъ деревьевъ, и когда скользилъ по нимъ солнечный лучъ, крылья ихъ блестяли, какъ перламутръ.

На кустѣ цвѣла роза, превосходящая всѣ остальные розы свѣжестью и красотой, и ей-то пѣлъ соловей про свою любовную тоску.

Но роза молчала; на листьях у нея не сверкало ни единой росинки, въ видѣ слезы сочувствія или хотя состраданія; роза вмѣстѣ съ вѣткою склонялась надъ какими-то большими камнями.

— Здѣсь покоится величайшій пѣвецъ въ мірѣ, — сказала роза. — Я хочу благоухать на его могилѣ, и когда буря оборветъ мои лепестки, — усыпать ими эту могилу! Пѣвецъ Иліона обратился въ землю, и изъ этой земли я выросла. Я, роза съ могилы Гомера, слишкомъ священна для того, чтобы цвѣсти и благоухать для какого-нибудь простого соловья.

И бѣдняга соловей запѣлся до смерти.

Пришелъ погонщикъ верблюдовъ со своими навьюченными верблюдами и черными невольниками. Маленькій сынишка погонщика нашелъ мертвую птичку и похоронилъ ее въ могилѣ великаго Гомера.

Розу колебало вѣтромъ.

Наступилъ вечеръ, роза плотнѣе свернула свои лепестки, и сталъ ей грезиться такой сонъ.

Былъ ясный солнечный день. Приблизилась цѣлая толпа чужеземцевъ, пришедшихъ поклониться могилѣ великаго Гомера.

Въ числѣ этихъ чужеземцевъ былъ одинъ сѣверный пѣвецъ изъ страны тумановъ и сѣвернаго сіянія. Онъ сорвалъ розу, положилъ ее въ книгу, крѣпко притиснулъ тамъ и увезъ съ собою въ другую часть свѣта, въ свою далекую отчизну.

Роза завяла съ тоски, лежа въ душевной книгѣ.

Поэтъ открылъ книгу у себя на родинѣ и сказалъ:

— Вотъ роза съ могилы Гомера!

Вотъ что грезилось розѣ.

Она проснулась, вздрогнувъ отъ вѣтра; съ ея лепестковъ скатилась слеза на могилу пѣвца.

Взошло солнце и краше, пышнѣй прежняго зацвѣла роза.

День былъ знойный, она была попрежнему въ своей жаркой Азiи.

Но вотъ послышались шаги, пришли чужеземные франки, которые грезились розѣ во снѣ, и между ними былъ и поэтъ съ сѣвера.

Поэтъ сорвалъ розу, поцѣловалъ ее въ свѣжіе лепестки и увезъ съ собою въ страну тумановъ и сѣвернаго сіянія.

Теперь роза лежитъ муміей у поэта, въ его Илиадѣ, и слышитъ роза какъ бы съвозъ сонъ, какъ поэтъ говоритъ иногда, открывая книгу:

— Вотъ роза съ могилы Гомера.





Колокольная бездна.



ингъ-дангъ! Дингъ-дангъ! слышится изъ глубины «колокольной бездны» въ небольшомъ, неглубокомъ озерцѣ у Одензе.

Каждый малый ребенокъ въ старомъ городѣ Одензе, на берегу Фіонін, знаетъ это озерко; оно омываетъ сады кругомъ города и протекаетъ подъ деревяннымъ мостомъ отъ шлюзъ до водяной мельницы.

Въ озеркѣ растутъ желтыя водяныя лиліи и высокій, толстый камышъ съ черными, словно бархатными стволами, старыя, разсѣвшіяся, треснувшія пвы — вытянутыя, свѣшивающіяся далеко надъ потокомъ со стороны монастырскаго луга и бѣлильни, а на другомъ берегу то идутъ хорошенькіе садики съ прекрасными яркими цвѣтами и свѣжей зеленью, такіе гладенькіе и миленькіе, словно крошечное кукольное царство, то идутъ огороды, засаженные только капустой и другими овощами, а то и вовсе не видать никакой изгороди — и по берегу тянутся одни высокіе бузинные кусты, свѣсившіеся надъ быстрыми водами потока, который мѣстами такъ глубоко, что и дна весломъ не достанешь.

Противъ древняго монастыря для благородныхъ дѣвицъ находится самое глубокое мѣсто, которое зовется «колокольной бездною».

И тутъ-то, на днѣ этой бездны, живетъ старыи водяной духъ, — «водяникъ».

Водяникъ спитъ цѣлый день, пока солнце свѣтитъ сквозь воду, и показывается лишь въ ясныя звѣздныя ночи при мѣсячномъ сіяніи.

Водяникъ очень старъ; бабушка говоритъ, что слышала про него рассказы еще отъ своей бабушки. Онъ ведетъ жизнь уединенную, ему не съ кѣмъ говорить, кромѣ большого стараго церковнаго колокола.

Въ прежнія времена колоколь этотъ висѣлъ на колокольнѣ, но теперь отъ всего этого не осталось и слѣда. Да, не осталось слѣда ни отъ колокольни ни отъ той церкви, что называлась церковью святаго Альбана.

«Дингъ-дангъ! Дингъ-дангъ!» звонилъ колоколь, когда еще стояла колокольня.

И вотъ разъ ввечеру, когда солнце садилось, колоколь раскачался такъ сильно, какъ только могъ, оторвался и полетѣлъ по воздуху.

Блестящій металлъ такъ и сверкалъ, такъ и горѣлъ въ алыхъ лучахъ заходящаго солнца.

«Дингъ-дангъ! Дингъ-дангъ! Теперь-то я лягу на покой!» пѣлъ колоколь.

И полетѣлъ колоколь внизъ, въ Одензейское озеро, въ самое глубокое мѣсто, и поэтому-то это мѣсто и назвали «колокольной бездною».

Но колоколу нѣтъ покоя и сна.

Тамъ, въ безднѣ, у водяника, онъ такъ поетъ и звонитъ, что иной разъ звуки сквозь воду доходятъ доверху, и многіе говорятъ, что этотъ звонъ всегда означаетъ, что кому-нибудь придется умереть.

Но это неправда. Нѣтъ, колоколь просто бесѣдуетъ съ водяникомъ, который ужъ теперь не одинъ.

А что же рассказываетъ колоколь?

Онъ старъ, онъ, какъ мы уже замѣтили, очень старъ. Онъ былъ на свѣтѣ гораздо раньше, чѣмъ родилась бабушкина бабушка, а все-таки она по годамъ просто ребенокъ сравнительно съ водяникомъ.

Водяникъ старый, смиренный, тихій человекъ, чудачина, въ панталонахъ изъ угревой кожи и въ чешуйчатой курткѣ съ пуговицами изъ желтыхъ водяныхъ лилій, въ камышовомъ вѣнкѣ на головѣ и съ водяной чечевицей въ бородѣ, но все-таки очень милъ и красивъ на видъ.

На передачу того, что рассказываетъ колоколь, понадобились бы цѣлые годы. Онъ, пожалуй, каждый разъ рассказываетъ сызнава старыя исторіи, то укорачиваетъ, сокращаетъ, обрѣзываетъ ихъ, то удлиняетъ, варьируетъ, какъ ему вздумается, смотря по расположенію духа.

Онъ рассказываетъ про старыя времена, про темныя, суровыя старыя времена.

На колокольню церкви святого Альбани взошелъ монахъ. Онъ былъ молодъ и хорошъ собою, но чрезвычайно задумчивъ. Онъ глядѣлъ изъ опускнаго окна, что вонъ тамъ, наверху, черезъ озеро, когда еще озеро заливало весь монастырскій лугъ и было очень глубоко. Онъ глядѣлъ черезъ озеро и черезъ зеленый валъ, и черезъ «горку монахини», глядѣлъ туда, гдѣ стоялъ монастырь, откуда выходилъ свѣтъ изъ монашеской кельи.

Онъ былъ близко знакомъ съ этой монахиней и вспоминалъ о ней, и при этомъ сердце у него билось сильнѣе. «Дингъ-дангъ! Дингъ-дангъ!»

Да, это рассказывалъ колококоль.

Взошелъ на колокольню и глупый служка епископа, когда я, колоколь, вылитый изъ металла, пѣлъ рѣзко и сильно и раскачивался, и могъ бы разожжить ему голову; онъ сѣлъ какъ разъ подо мною и принялся играть двумя палочками, словно на какомъ струнномъ инструментѣ, и при этомъ припѣвалъ:

— Теперь-то я могу громко пропѣть то, о чемъ прежде не смѣлъ и шептать! Теперь-то я могу пропѣть про то, что прячутъ за замками и за тяжелыми запорами! Тамъ холодно и мокро! Тамъ ее живо ѣдятъ крысы! Никто этого не слышитъ! И теперь не слышно тоже, потому что колоколь звонить и поетъ свое дингъ-дангъ! дингъ-дангъ!

Церковный колоколь высоко виситъ и далеко смотритъ кругомъ, видитъ вокругъ себя птицъ и понимаетъ ихъ языкъ; вѣтеръ съ шумомъ врывается къ нему сквозь опускныя окна, звуковыя отверстія, сквозь каждую трещинку, а вѣтеръ знаетъ и вѣдаетъ все,— ему обо всемъ рассказываетъ воздухъ, а воздухъ вѣдь обнимаетъ все живущее, воздухъ проникаетъ въ легкія человѣка, знаетъ все, что даетъ о себѣ знать звукомъ или словомъ, знаетъ каждый вздохъ.

Воздухъ знаетъ, вѣтеръ рассказываетъ, а церковный колоколь понимаетъ его языкъ и раззваниваетъ все по свѣту.

Дингъ-дангъ! Дингъ-дангъ!

Но мнѣ стало неумоготу слушать такъ много и знать такъ много, я уже не въ силахъ былъ все это раззванивать.

Я такъ усталъ, я такъ отяжелѣлъ, что бревно подломилось, и я ринулся сквозь сіяющій воздухъ сюда, въ

самое глубокое мѣсто въ озерѣ, гдѣ въ одиночествѣ и уединеніи живетъ водяникъ.

И здѣсь я рассказываю круглый годъ, что слышалъ, и что знаю.

Дингъ-дангъ! Дингъ-дангъ!

Вотъ какіе звонъ и жалобы несутся изъ колокольной бездны на Одензейскомъ озерѣ.

Это рассказывала бабушка.

Но школьный учитель говорить:

— Нѣтъ такого колокола, который бы могъ звонить въ водяной безднѣ. Да и водяника тоже нѣтъ тамъ, потому что водяниковъ вообще нѣтъ нигдѣ.

А когда другіе колокола такъ чудесно звонятъ, школьный учитель говорить, что это не колокола звучать, а воздухъ, что отъ этого-то и выходитъ весь звонъ.

Бабушка рассказываетъ то же, что сказалъ самъ колоколь, стало-быть, тутъ они сошлись въ мнѣніяхъ, и это вѣрно.

— Будь остороженъ! Будь остороженъ и смотри за собой строго! строго! строго!— говорятъ они оба.

Воздухъ все знаетъ. Воздухъ и вокругъ насъ и въ насъ; онъ рассказываетъ про наши мысли и про наши дѣла и говоритъ гораздо дольше, чѣмъ колоколь изъ бездны Одензейскаго озера, гдѣ живетъ водяникъ: воздухъ разноситъ все по глубинѣ небесной далеко-далеко-далеко, вѣчно и всегда, пока небесные колокола не зазвонятъ:

Дингъ-дангъ! Дингъ-дангъ!



Ночной колпакъ стараго холо- стяка.



Въ Копенгагенѣ есть улица съ престраннымъ на-
званьемъ «Hyskenstrade».

Откуда взялось это названье, и что оно
значить?

Должно-быть, это слово нѣмецкое, только нѣмецкому
языку тутъ-таки порядочно досталось.

Слѣдовало бы сказать «Häuschen», а не «Hysken»,
потому что здѣсь когда-то стояло нѣсколько маленькихъ
домиковъ, въ родѣ тѣхъ деревянныхъ лавочекъ, что ви-
дишь на ярмаркахъ. Правда, они были побольше и съ
окнами, но въ оконницы вставлены были листы изъ
рога или пузыря, потому что въ тѣ времена вставлять
стекла было слишкомъ дорого.

Вѣдь это было очень давно,—такъ давно, что когда дѣдушка и прадѣдушка примутся, бывало, рассказывать, такъ говорятъ: «въ старыя времена».

Да, это было много столѣтій тому назадъ.

Богатые бременскіе и любекскіе купцы торговали въ Копенгагенѣ, но сами тутъ не жили. Они посылали съ товарами своихъ приказчиковъ, и вотъ приказчики-то эти и проживали въ улицѣ домиковъ и продавали пиво и пряности.

Нѣмецкое пиво было очень доброкачественное и нѣсколькихъ сортовъ: бременское, пруссингенское, эмское и даже брауншвейгское!

Пряности тоже были какъ слѣдуетъ: шафранъ, анисъ, имбирь, а больше всего перцу.

Да, перцу шло больше всего, и потому нѣмецкихъ приказчиковъ и прозвали въ Даніи «перечниками» или «перцеѣдами».

Но это еще не все.

Всѣ приказчики эти должны были обѣщаться у себя дома, въ Любекѣ и въ Бременѣ, что они останутся холостяками.

И многіе, очень многіе изъ нихъ такъ состарились; приходилось самимъ о себѣ заботиться, самимъ хлопотать по дому и по хозяйству.

И не мало между ними было пожилыхъ одинокихъ парней, съ совершенно особеннымъ образомъ мыслей и совершенно особыми привычками.

Вотъ въ память ихъ-то въ Даніи и называютъ всякаго неженатаго мужчину извѣстныхъ лѣтъ «перцеѣдомъ» или «перечникомъ».

Вотъ сколько надо знать, прежде чѣмъ доберешься до истиннаго смысла исторіи!

«Перцеѣдовъ», или старыхъ холостяковъ, поднимають на смѣхъ; имъ совѣтуютъ напялить ночной колпакъ на голову, надвинуть его на глаза и все спать да спать.

На эту тему и пѣсня, — даже не одна, — а много пѣсень сложено.

Да, такъ - то глумятся и издѣваются надъ бѣднягой старымъ холостякомъ и надъ его ночнымъ колпакомъ!

А все это оттого, что мало знаютъ и его самого и его колпакъ.

Ахъ, избави меня Господи желать себѣ такого колпака!

А почему?

Мы сейчасъ услышимъ, почему.

Въ прежнія времена на улицѣ домиковъ не было мостовой; кто шелъ по ней, тотъ попадалъ на каждомъ шагу изъ одной ямы въ другую, точно на какой-нибудь ухабистой дорогѣ.

Къ тому же еще улица эта была узкая-преузкая; лавочки жались другъ къ другу и стояли такъ близко одна противъ другой, что въ лѣтнее время очень часто надъ улицу растягивали парусъ и вотъ-то начинало разить перцемъ, шафраномъ и имбиремъ.

За прилавками обыкновенно стояли, нельзя сказать, чтобы юноши, — нѣтъ, то были большею частію уже очень и очень пожилые парни.

Съ виду они совсѣмъ были не такіе, какими мы ихъ себѣ, пожалуй, представляемъ, напримѣръ, въ парикъ, въ ночномъ колпакѣ, въ плюшевыхъ питанахъ, въ камзолѣ и въ застегнутомъ до самаго горла кафтанѣ.

Нѣтъ, это такъ одѣвался дѣдушкинъ прадѣдушка и такимъ онъ и изображенъ на портретѣ, но у «перцеѣдовъ» лишнихъ денегъ не было и портретовъ они съ себя не снимали.

А вѣдь интересно было бы имѣть изображеніе котораго-нибудь изъ нихъ, какъ онъ стоитъ за прилавкомъ, или какъ въ праздничный день идетъ въ церковь.

Шляпа у него высокая и съ широкими полями (а кто былъ помоложе, такъ иной разъ затыкалъ за шляпу перо), шерстяная рубаха прячется подъ большимъ откиднымъ полотнянымъ воротникомъ, узкая куртка въ обтяжку и застегивается до самаго верху, а поверхъ нея свободно виситъ широкій плащъ, и панталоны спускаются въ башмаки съ широкими-преширокими носками, потому что чулокъ они не носили. За поясомъ у него торчитъ столовый ножъ и ложка и, кромѣ того, еще небольшой ножъ для обороны; въ тѣ времена въ такомъ ножѣ частенько-таки бывала нужда.

Въ такомъ именно костюмѣ ходилъ по праздникамъ старый Антонъ, одинъ изъ самыхъ старыхъ холостяковъ въ улицѣ домиковъ, только вмѣсто высокой шляпы съ широкими полями онъ носилъ капюшонъ, а подъ капюшономъ вязаный колпакъ.

Да, настоящій вязаный ночной колпакъ, и такъ онъ къ этому колпаку привыкъ, что колпакъ вѣчно торчалъ у него на головѣ, и ихъ, то-есть колпаковъ-то, было у него два.

Старикъ былъ очень хорошъ, такъ хорошъ, что вотъ такъ бы, кажется, прямо его и сунуль въ картину.

Онъ былъ сухъ, какъ палка; около рта и глазъ было у него множество морщинъ, пальцы костлявые и длинные, брови густыя, сѣдыя. Надъ лѣвымъ глазомъ у него висѣлъ цѣлый пучокъ волосъ,— онъ отъ этого, говоря правду, нисколько не былъ лучше, но зато его легче было узнавать.

Про него знали, что онъ изъ Бремена, но это было не совсѣмъ-то вѣрно,— въ Бременѣ жилъ только его

хозяинъ, а самъ Антонъ былъ родомъ изъ Тюрингена, изъ города Эйзенаха, какъ разъ изъ-подъ Вартбурга.

Старый Антонъ мало разказывалъ про свое прошлое, но зато много о немъ думалъ.

Приказчики съ улицы домиковъ рѣдко сходились вмѣстѣ; каждый изъ нихъ сидѣлъ себѣ особнякомъ въ своей лавочкѣ. Лавочки эти запирались ввечеру очень рано, и въ улицѣ домиковъ становилось темно, совсѣмъ темно.

Только изъ одного маленькаго роговаго окошечка подъ самой крышей выходилъ слабый свѣтъ.

Тутъ-то сидѣлъ обыкновенно на своей постели старый приказчикъ.

Онъ сидѣлъ на постели, держалъ въ рукахъ нѣмецкій молитвенникъ и потихоньку напѣвалъ вечерній псаломъ.

Или же онъ расказывалъ по комнатѣ до глубокой ночи, возился надъ какимъ-нибудь дѣломъ.

Но не весело, конечно, ему было: чужому на чужой сторонѣ жутко. Куда ни пойдѣ, вездѣ ты точно лишній и кому-нибудь точно стоишь поперекъ дороги.

Бывало часто, на дворѣ темная ночь, дождь, снѣгъ и все такъ пустынно и мрачно. Фонарей тогда вовсе не было, кромѣ одного маленькаго фонарика, который висѣлъ на самомъ концѣ улицы, передъ образомъ Богоматери, что нарисованъ былъ на стѣнѣ. Слышно, какъ о бастионъ сосѣдняго укрѣпленія бьетъ вода, вѣтеръ завываетъ...

Для одинокаго человѣка такіе вечера тянутся ужасно долго, когда ему нечѣмъ заняться.

А нельзя же каждый Божій день все раскладывать да раскладывать товары, готовить свертки и чистить вѣсы.

Антонъ принимался за другія занятія: онъ самъ чинилъ свое платье и бѣлье и клалъ заплатки на башмаки. Когда онъ, наконецъ, ложился въ постель, онъ и тутъ, по привычкѣ, не снималъ своего колпака, а только надвигалъ немножко пониже на лобъ.

Но скоро потомъ Антонъ опять сдвигалъ колпакъ вверхъ, чтобы посмотрѣть, хорошо ли погашена свѣча, ощупывалъ эту свѣчу, притискивалъ свѣтильню, затѣмъ перевертывался на другой бокъ и опять надвигалъ колпакъ.

Но тутъ часто ему приходила мысль: не осталось ли тамъ, внизу на лавочкѣ, жару въ горшечкѣ съ углями, потухли ли уголья какъ слѣдуетъ? Пожалуй, тамъ еще тлѣетъ какая-нибудь искорка, чего добраго, искорка эта вдругъ разгорится, вспыхнетъ и надѣлаетъ тысячу бѣдъ!

И вотъ онъ тотчасъ же вставалъ съ постели и тащился внизъ по лѣсенкѣ.

Но когда онъ добирался до горшечка съ углями, оказывалось, что жаръ тутъ давнымъ-давно потухъ и ему смѣло можно было вернуться назадъ.

Но не пройдетъ онъ, бывало, и половины ступенекъ, какъ у него вдругъ опять явится сомнѣнiе, хорошо ли задвинуты ставни.

И вотъ онъ опять плетется внизъ на своихъ сухопарыхъ ногахъ.

Когда онъ, наконецъ, окончательно залѣзалъ въ постель, у него по всему тѣлу пробѣгалъ морозъ и зубы стучали во рту, потому что вѣдь холодъ тутъ-то и всего жесточе, когда ему приходится убираться вонъ.

Ложился Антонъ, выше встегивалъ на себя одѣяло, ниже надвигалъ колпакъ на глаза и начиналъ думать

о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ торговли и дневныхъ домашнихъ заботъ.



Но въ этихъ думахъ не было ничего пріятнаго, потому что являлись старыя воспоминанья и принимались развертывать передъ нимъ свой свитокъ и представлять разныя декораціи разыгранныхъ пьесъ, а

вѣдь у этихъ декораций бываютъ иногда ухъ-ухъ какія булавки!

Да, объ эти булавки можно больно уколоться!

А какъ дойдутъ онѣ до живого тѣла да обожгутъ, такъ и слеза прошибетъ.

Вотъ это-то и случалось иногда со старымъ Антономъ, и тогда горячія слезы свѣтлыми жемчужинами катились у него по лицу и падали на одѣяло или на полъ и звенѣли такъ, какъ будто бы въ переполненномъ сердцѣ оборвалась болѣзненная струна.

Декорации эти исчезали потомъ, какъ дымъ, но, исчезая, вспыхивали яркимъ пламенемъ и освѣщали ему картины прошлой жизни,—картины, не тускнѣвшія въ его сердцѣ.

Потомъ, когда онъ отиралъ глаза ночнымъ колпакомъ, то стиралъ и слезы и картины, но источникъ оставался и струился у него въ сердцѣ.

И шли картины одна за другой, только не въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ бывали въ дѣйствительности; чаще всего появлялись самыя безотрадныя, между ними сіяли радостныя, но отъ этихъ-то радостныхъ именно и ложилась самая сильная тѣнь.

Прекрасны, говорятъ, буковые лѣса Даніи, но передъ глазами Антона вставалъ еще прекраснѣе буковый лѣсъ въ окрестностяхъ Вартбурга. Какъ могучи и величавы казались ему старые дубы тамъ, вокругъ гордаго рыцарскаго замка, гдѣ съ каменныхъ глыбъ круглыхъ утесовъ висятъ гирляндами вьющіяся растенія!

Слаще, чѣмъ въ датской землѣ, благоухали тамъ яблони въ цвѣту,—онъ и теперь еще словно вдыхалъ въ себя ихъ нѣжный ароматъ.

И по щека́мъ его катилась слеза. Эта слеза свѣтилась, и онъ ясно видѣлъ въ ней двухъ играющихъ дѣтей, дѣвочку и мальчика.

У мальчика были розовыя щеки, свѣтлыя кудрявыя волосы и добрыя голубые глаза.

То былъ сынъ богатаго кушца Антонъ, то былъ онъ самъ!

У маленькой дѣвочки были черныя волосы и темныя глаза; она смотрѣла смѣло и умно.

То была Молли, дочь бургомистра.

Оба они играли однимъ яблокомъ. Они это яблоко трясли и слушали, какъ внутри стучать сѣмечки.

Затѣмъ они разрѣзали яблоко пополамъ, и каждому изъ нихъ досталось по половинкѣ. Они подѣлили между собой и сѣмечки и съѣли ихъ всѣ, кромѣ одного зернышка, которое они задумали посадить въ землю.

Посадить въ землю зернышко придумала маленькая дѣвочка.

— Ты потомъ увидишь, что изъ этого вырастетъ,— сказала она.— Вырастетъ то, чего ты даже и не воображаешь—цѣлая яблоня! Только, разумѣется, не сейчасъ, надо будетъ пообождать.

И дѣвочка положила зерно въ цвѣточный горшокъ, и оба они усердно хлопотали надъ этимъ.

Мальчикъ выкопалъ пальцемъ ямочку, а дѣвочка положила въ эту ямочку зерно, и оба вмѣстѣ засыпали его землей.

— Только ты смотри, не вытаскивай его завтра поутру, чтобы посмотреть, не пустило ли оно корней,—говорила Молли,—этого нельзя. Я вотъ сдѣлала такъ съ своими цвѣтами только два раза,—мнѣ ужъ очень хотѣлось поглядѣть, растутъ ли они,—я тогда вѣдь еще ничего не смыслила!—И цвѣты пропали!

Цвѣточный горшокъ остался у Антона, и всю зиму онъ каждое утро осматривалъ его, но ничего не было видно, кромѣ черной земли.

Наконецъ пришла весна. Опять солнышко засвѣтило ярко и тепло, и вотъ изъ земли вышли два маленькихъ зеленыхъ листка.

— Это я съ Молли! — сказалъ Антонъ. — Вотъ прелесть, такъ прелесть!

Скоро показался и третій листикъ.

Кого же этотъ-то представляетъ?

Да, показался третій, а потомъ вышелъ еще и еще листокъ.

Съ каждой недѣлей, съ каждымъ днемъ листки становились все больше, — растеніе превращалось въ дерево.

И все это теперь отражалось въ одной слезѣ, въ той, что исчезла, стертая колпакомъ стараго холостяка.

Да, исчезла, но вѣдь она могла вернуться назадъ изъ источника — изъ сердца стараго Антона.

Неподалеку отъ Эйзенаха тянется рядъ каменистыхъ горъ. Одна изъ этихъ горъ, вся круглая, стоитъ выше всѣхъ прочихъ: на ней нѣтъ ни деревьевъ, ни кустарниковъ, ни дерну — ее зовутъ Венерина гора.

Яблоня, которую Молли съ Антономъ посадили, росла съ каждымъ годомъ, росла все выше да выше и выросла, наконецъ, такая большая, что ее потребовалось пересадить въ садъ, на открытый воздухъ, туда, гдѣ падаетъ свѣжая роса и жарко пригрѣваетъ солнце.

И вотъ дерево такъ выросло и окрѣпло, что могло уже выносить зиму.

А весной, словно обрадовавшись, что избавилось отъ суровой стужи, оно все сплошь покрывалось цвѣтами.

Осенью деревцо принесло два яблока, одно для Молли, другое для Антона, — ужь меньше нельзя было.

Дерево быстро росло. Точно такъ же росла и Молли. Она была свѣжа, какъ яблонный цвѣтъ.

Только Антону недолго пришлось любоваться на этотъ цвѣтъ.

Все на свѣтѣ переходить, все мѣняется!

Моллинъ отецъ оставилъ свою родную сторону, а вмѣстѣ съ отцомъ уѣхала и Молли, — уѣхала далеко-далеко.

Нынче паромъ можно туда приѣхать въ нѣсколько часовъ, но въ тѣ времена надо было ѣхать больше сутокъ, чтобы добраться къ востоку отъ Эйзенаха, на самый край Тюрингенской земли, въ городъ Веймаръ.

При прощаньи и Молли плакала и Антонъ плакалъ.

Всѣ эти слезы слились теперь въ одну слезу, сверкающую чуднымъ розовымъ отблескомъ радости.

Молли сказала Антону, что любить его, любить больше всего, что только есть наилучшаго въ Веймарѣ.

Какъ, бывало, часто слушали Антонъ и Молли исторію про Тристана и Изольду, и какъ часто Антонъ при мѣнялъ эту исторію къ себѣ, хотя имя Тристанъ значить: «Онъ родился у нихъ въ печали», а это вовсе не шло къ Антону.

Да, Антону никогда не приведется думать: «Она меня забыла!»

Да вѣдь и Изольда не забывала своего друга, а когда ихъ обоихъ опустили въ землю, его по одну сторону церкви, а ее по другую, то на могилахъ у нихъ выросли липы, протянули вѣтви надъ церковной крышей и встрѣтились тамъ всѣ въ цвѣту.

«Это, — думалъ Антонъ, — хотя и очень хорошо, но очень грустно».

Да, очень грустно.

А съ нимъ и съ Молли не можетъ случиться ничего грустнаго.

И онъ насвистывалъ пѣсню стараго миннезингера Вальтера:

Подъ липами,
Подъ цвѣтущими.

Въ особенности ему нравилось въ пѣснѣ вотъ это мѣсто:

Пѣлъ въ долинѣ во зеленой
Сладкозвучный соловей
Тадарадей!

Эта пѣсня такъ и вертѣлась у него на языкѣ. Онъ ѣхалъ верхомъ, пѣлъ и насвистывалъ ее, въ мѣсячную ясную ночь ѣдучи по глубокой зеленой долинѣ въ Веймаръ, въ гости къ Молли.

Ему хотѣлось приѣхать туда, когда его совсѣмъ не ждали.

Оно и въ самомъ дѣлѣ такъ и вышло.

Приняли его съ большимъ радушіемъ, вино лилось черезъ край, — тутъ была веселая компанія, — отвели ему уютную комнату и постлали хорошую постель.

А все тутъ было совсѣмъ-совсѣмъ не такъ, какъ онъ думалъ и мечталъ.

Онъ не могъ себѣ этого хорошенько разъяснить, — онъ не понималъ самого себя, онъ не понималъ другихъ.

Но мы-то вѣдь понимаемъ!

Можно быть въ домѣ, въ семействѣ и, какъ говорится, не прирасти тутъ. Вы говорите другъ съ другомъ, какъ говорятъ въ дилижансѣ; вы знакомитесь другъ съ другомъ, какъ знакомятся въ дилижансѣ; вы стѣсняете другъ друга, вы желаете поскорѣе убраться

отсюда вонъ, или молитѣ Господа, чтобъ убрался вонъ вашъ сосѣдушка.

Да, вотъ именно въ этотъ разъ испытывалъ что-то подобное и Антонъ.

— Я честная дѣвушка, — сказала ему Молли, — и скажу тебѣ все прямо въ глаза. Многое измѣнилось съ той поры, какъ мы были дѣтьми. Надъ нашими сердцами никакой власти не имѣютъ привычка и воля. Антонъ, мнѣ бы не хотѣлось съ тобой ссориться теперь, когда я скоро уѣзжаю далеко отсюда... Повѣрь, я желаю тебѣ всего, всего лучшаго; но любить тебя, какъ, я теперь знаю, можно любить другого человѣка, я никогда тебя не любила, Антонъ; что дѣлать, это вѣдь не отъ насъ зависитъ. Ты ужъ этому покорись. Прощай, Антонъ!

И Антонъ тоже ей сказалъ: «Прощай».

Онъ не проронилъ ни единой слезинки, но онъ чувствовалъ, что все ужъ кончено, что ужъ онъ не другъ Молли.

И раскаленное и холодное, какъ ледъ, желѣзо одинаково отрываютъ кожу отъ губъ, и мы испытываемъ, касаясь его, совершенно одинаковое ощущеніе.

Антонъ могъ такъ же сильно ненавидѣть, какъ и любить.

Не прошло и сутокъ, какъ Антонъ былъ уже опять въ Эйзенахѣ.

Только лошадь, на которой онъ ѣздилъ, была въ конецъ загнана.

— Ну, что жъ такое! — сказалъ Антонъ, — я самъ загнанъ въ конецъ. Яблоню я сломлю. Я вырву ее съ корнемъ! Ужъ не цвѣсти ей больше и не давать плодовъ.

Но яблони онъ не сломалъ, а его самого сломило.

Его схватила лихорадка и приковала къ постели.

Что теперь могло его вылѣчить? Одно только лѣкарство, самое горькое, какое только можетъ быть, то, которое въ подавленной горемъ душѣ и больномъ тѣлѣ производить порядочное потрясеніе.

Отецъ Антона обѣднѣлъ. Тяжелые дни испытанія стояли у ихъ дверей. Пришла бѣда и, словно прорвавшійся потокъ, хлынула на богатый домъ.

Отецъ Антона сдѣлался бѣднымъ человѣкомъ, горе отняло у него силы и энергію, и Антону пришлось, вмѣсто того, чтобы предаваться мученьямъ любви да гнѣваться на Молли, думать о насущномъ хлѣбѣ.

Онъ долженъ былъ заступить мѣсто отца, долженъ былъ приводить въ порядокъ дѣла, долженъ былъ хлопотать съ утра до ночи, долженъ былъ пуститься въ далекіе края, — однимъ словомъ, долженъ былъ биться, какъ рыба объ ледъ, чтобъ заработать себѣ кусокъ хлѣба.

Антонъ отправился въ Бременъ. Тутъ-то онъ извѣдалъ, что это такое нужда и горе.

А нужда и горе или ожесточаютъ или смягчаютъ сердце, чаще всего смягчаютъ.

Какъ выходило, свѣтъ и люди не похожи на то, чѣмъ онъ представлялъ ихъ себѣ въ дѣтствѣ!

Что такое теперь пѣсни миннезингеровъ? Во что онѣ для него обратились? Это какое-то мурлыканье, пусгой, ничего не значащій звукъ!

Да, такъ думалъ онъ временами, но временами пѣсни эти опять звучали у него въ душѣ, и онъ приходилъ въ умиленье.

— Все къ лучшему! — говаривалъ онъ тогда. — Лучше, что Молли сказала мнѣ это, когда я еще былъ богатъ, лучше, что она не полюбила меня, къ чему бы это повело? Вотъ я бѣднякъ, я едва могу пропитать свою душу... Она отступилась отъ меня прежде, чѣмъ

узнала, что мы разорились, прежде, чѣмъ могла предвидѣть, что ждало меня впереди. Да, все къ лучшему. Вѣдь она не виновата, это было не въ ея власти... А я еще такъ злился тогда!

Прошли годы. Антоновъ отецъ умеръ, чужіе люди жили теперь въ его родительскомъ домѣ.

Однакоже Антону суждено было увидать снова этотъ родительскій домъ.

Его богатый хозяинъ послалъ его путешествовать по торговымъ дѣламъ, и дорога вела черезъ родной его городъ Эйзенахъ.

Старый Вартбургъ стоялъ себѣ на скалѣ, точь въ точь такой же, какъ и прежде; «монахъ и монахиня», изваянные изъ камня, тоже были цѣлы. Большіе дубы придавали всему вмѣстѣ тотъ же самый видъ, какъ и во времена его дѣтства. Венерина гора, голая, страшная, попрежнему глядѣла въ долину.

Въ эту самую минуту на цвѣтущемъ кустѣ запѣла какая-то маленькая птичка, и пѣсня стараго миннезингера пришла ему на память:

Пѣлъ въ долинѣ во зеленой
Сладкозвучный соловей.
Тадарадей!

Сквозь слезы увидалъ онъ этотъ родной городъ, гдѣ протекло его дѣтство. Сколько-сколько всего воскресло при этомъ въ его воспоминаньи!

Родительскій домъ стоялъ все точнехонько такой же, какъ прежде, только садъ измѣнился: теперь черезъ одинъ его уголь шла дорога въ поле, и яблоня, которую онъ когда-то грозилъ сломить, стояла тамъ же, на своемъ мѣстѣ, но очутилась по другую сторону дороги.

Солнце по-старому бросало на яблоню свои живительные лучи, по-старому падала на нее лсвѣжающая роса, и на ней было такое обиліе плодовъ, что вѣтки гнулись до самой земли.

— Вотъ она какъ благоденствуетъ! — сказала Антонъ. — Что же, сій это можно!

Однакожь одна большая вѣтка была сломана.

Это сдѣлали чьи-то злыя руки, — бѣдное дерево вѣдь стояло теперь на столбовой дорогѣ!

Вотъ съ яблони рвутъ цвѣты, не сказавъ ему за это спасибо, крадутъ плоды и ломаютъ вѣтки! А вѣдь если говорить про дерево, какъ про человѣка, такъ можно было бы сказать:

— Не то, не то было ему пѣто надъ его колыбелью! Не такая ожидала его участь! Какъ прекрасно началась его жизнь, и что же изъ этого вышло? Оставленное, забытое, садовое дерево за заборомъ, въ полѣ, на столбовой дорогѣ!

И вотъ стоитъ теперь это дерево, ободранное и обломанное! Оно отъ это не вянетъ, но съ лѣтами на немъ все меньше да меньше будетъ цвѣту, потому не будетъ и плодовъ; и подъ конецъ — ну, подъ конецъ и всей исторіи баста!

Такъ размышлялъ Антонъ еще подъ яблоней, такъ размышлялъ онъ часто ночью, въ маленькой каморкѣ, въ деревянномъ домикѣ, въ чужой землѣ, въ улицѣ домиковъ въ Копенгагенѣ, куда послалъ его богатый хозяинъ, бременскій купецъ, который взялъ съ него обѣщаніе никогда не жениться.

— Жениться! Ха-ха-ха!

И Антонъ смѣялся, глухо и такъ странно смѣялся. Зима наступила рано, морозы стояли сильные; на

дворѣ бушевала такая вьюга и метель, что всякій, кто только могъ, сидѣлъ дома.

Поэтому-то Антоновъ сосѣдъ, что жилъ въ домикѣ напротивъ его, и не замѣтилъ, что Антонова дверь уже два дня сряду не отворяется, что самъ Антонъ не показывается. Кто жъ станетъ въ такую погоду выходить безъ необходимости или наблюдать, что дѣлается съ сосѣдомъ!

Какіе-то были сѣрые, холодные, мрачные дни! Оконицы были не стеклянные, и въ каморкѣ постоянно были то сумерки, то темная ночь.

Старый Антонъ цѣлыя двое сутокъ не вставалъ съ своей постели; у него ужъ не хватило на это силъ, — онъ ужъ давно по боли во всѣхъ членахъ почувялъ дурную погоду.

Всѣми покинутый лежалъ старый холостякъ; онъ не въ состояніи былъ ничего дѣлать, онъ едва могъ достать кружку съ водою, которую поставилъ у себя около постели.

Вотъ и послѣдняя капля изъ кружки выпита. Кружка пустая.

У него отнимала силы не лихорадка, не болѣзнь, а старость.

Тамъ, наверху, гдѣ онъ лежалъ, была какъ будто вѣчная ночь.

Маленькій паучокъ, — онъ, впрочемъ, этого паучка не видалъ, — прилежно и спокойно затягивалъ надъ нимъ свою паутину, точно хотѣлъ приготовить хоть немножко свѣжаго траурнаго крепа къ тому времени, когда старый холостякъ закроетъ глаза.

Долго, страшно долго, тянулось время.

Слезъ у него не было, болей тоже не было. Молли не приходила ему на умъ; ему по временамъ казалось,

что свѣтъ и вся его живая суета ужъ не касается его, что онъ какой-то внѣ свѣта и никто-никто изъ живущихъ о немъ не думаетъ.

Разъ ему почудилось, что какъ будто онъ почувствовалъ голодъ, потомъ жажду, но никто не пришелъ, никто не далъ ему утолить этого голода и этой жажды.

Онъ вспомнилъ тогда о тѣхъ, которые тоже когда-то, въ давнія времена, томилась голодомъ и жаждой, онъ вспомнилъ, какъ святая его родины, Елизавета, во время своего земного странствованія, посѣщая самыя убогія хижины, приносила больнымъ и утѣшенье и пищу.

Благочестивыя дѣла святой Елизаветы вдругъ такъ передъ нимъ и засіяли.

Онъ представлялъ, какъ она вездѣ являлась, расточая слова утѣшенія, какъ омывала раны страждущихъ, какъ подавала пищу голоднымъ, хотя ея строгій и ревнивый мужъ за это на нее страшно злился.

Онъ вспомнилъ преданье о томъ, какъ разъ мужъ ее подкараулилъ, загородилъ вдругъ ей дорогу и закричалъ :

— Что ты несешь въ корзинѣ?

— Это розы! — отвѣчала она въ испугѣ. — Я на-рвала ихъ въ саду...

Онъ схватилъ съ корзины бѣлое покрывало.

Чудо совершилось для благочестивой женщины: вино, хлѣбъ — все въ корзинѣ превратилось въ розы.

Онъ много думалъ о святой Елизаветѣ; она стояла передъ нимъ, словно живая, когда онъ лежалъ на своемъ жесткомъ ложѣ, въ деревянномъ домикѣ, въ Даніи.

Какіе кроткіе у нея глаза! До чего они исполнены любви и благости.

Когда онъ начиналъ вглядываться въ нее, все вокругъ него превращалось въ лучезарное сіянье и розы.

Да, вездѣ распускались благоухающія розы, и онъ слышалъ какой-то особенный, чудный запахъ яблоннаго цвѣта, и эта яблоня протягивала надъ нимъ свои вѣтви.

Это была та самая яблоня, что выросла изъ сѣмечка, которое посадили они съ Молли.

Яблоня сыпала ему на пылающую голову свои благоухающіе лепестки. Они падали ему на засохшія губы и утоляли жажду лучше всякой свѣжей струи; они падали ему на грудь, и ему стало вдругъ легко, такъ хорошо, такъ спокойно!

Ему захотѣлось уснуть.

— Теперь я засну! — прошепталъ онъ: сонъ такъ подкрѣпляетъ! Завтра я буду здоровъ и опять на ногахъ. Отлично! Чудесно! Вотъ оно, то дерево, которое мы посадили съ такой любовью, вотъ оно...

И онъ уснулъ.

День спустя — это ужъ былъ третій день, какъ Антонова лавочка не отворялась — метель утихла, и сосѣдъ, что жилъ напротивъ, пошелъ къ Антону.

Антонъ лежалъ на своей постели, вытянувшись во весь ростъ и крѣпко сжавъ обѣими руками свой ночной колпакъ.

Этого колпака не положили ему въ гробъ, потому что у него былъ еще другой, чистый.

Куда жъ дѣвались всѣ выплаканныя слезы?

Куда дѣвались эти жемчужины?

Онѣ остались въ ночномъ колпакѣ, — вѣдь настоящія никогда не смываются — и вмѣстѣ съ колпакомъ ихъ спрятали и забыли.

Старыя мысли, старыя сны тоже остались въ колпакѣ стараго холостяка.

Не желай себѣ этого колпака! Онъ распалить тебѣ голову, заставитъ танцовать твой пульсъ, навѣтъ на тебя сны, живые, какъ дѣйствительность.

Это испыталъ уже тотъ, кто первый надѣлъ колпакъ стараго холостяка.

А случилось это черезъ цѣлое полстолѣтіе, да и надѣлъ-то его еще не кто другой, какъ самъ бургомистръ,—бургомистръ, у котораго была прекрасная хозяйка-жена и одиннадцать человѣкъ дѣтей, который сидѣлъ привольно и основательно и уже загналъ своего жирнаго барашка въ вѣрное мѣстечко.

И вдругъ ему начинаютъ грезиться несчастная любовь, банкротство, нищета, тяжкія бѣды и напасти.

— Фу, ты, какъ горячить этотъ колпакъ! — закричалъ бургомистръ, срывая колпакъ съ головы.

И тутъ-то, звеня и блестя, выкатилась изъ колпака одна жемчужина, а за нею и другая.

— Это приливъ крови! — сказалъ бургомистръ.— У меня рябитъ въ глазахъ.

А то были слезы, выплаканныя назадъ тому полстолѣтія старымъ Антономъ изъ Эйзенаха.

Всякому, кто потомъ надѣвалъ этотъ ночной колпакъ, начинали мерещиться разные безпокойныя видѣнія и сны; его собственная исторія превращалась въ исторію Антона, становилась сказкой, даже нѣсколькими сказками разомъ.

Но пусть ужъ эти сказки рассказываютъ другіе. Мы рассказали первую и къ ней прибавимъ только свое послѣднее слово:

— Никогда не желай себѣ ночного колпака стараго холостяка.



„Кое-что“.



хочу быть «кое-чѣмъ»,—говоритъ старшій изъ пяти братьевъ,—хочу приносить какую-нибудь пользу на свѣтѣ. Я не гонюсь за необычайнымъ,—пусть мое положеніе будетъ самое скромное, самое ничтожное, только бы то, что я стану дѣлать, было дѣломъ хорошимъ,—это ужъ и будетъ «кое-что». Ну, положимъ, я примусь дѣлать кирпичи—безъ кирпичей вѣдь нельзя обойтись—и этимъ я сдѣлаю «кое-что».

— Ну, твое «кое-что» очень ничтожно!—сказалъ второй братъ.—Выдѣлка кирпича! Признаюсь, занятіе! Это работа поденщика, ее можетъ исполнить даже машина. Нѣтъ, ужъ лучше быть каменщикомъ, это такъ дѣйствительно «кое-что»! Я каменщикомъ и буду—это званіе! Попадешь въ цехъ, выйдешь въ мѣщане, будешь имѣть собственное свое знамя, заведешь свой

собственный трактиръ. Да, это дѣло серьезное, порядочное! И если только все пойдетъ благополучно, такъ я стану держать подмастерьевъ, буду мастеромъ; а жену мою будутъ называть госпожа мастерша... Да, это, дѣйствительно, «кое-что»!

— Это все равно, что ничего! — сказалъ третій братъ. — Это въ сущности даже не званіе, и въ городѣ много есть людей, которые не въ примѣръ повыше мастероваго. Ты можешь быть отличнѣйшимъ человекомъ, а все-таки, будучи только мастеромъ, причисляешься къ тѣмъ, которыхъ величаютъ «простыми» людьми. Нѣтъ, я ужъ выберу что-нибудь получше! Я сдѣлаюсь архитекторомъ, заберусь въ область искусства, — да! Я войду въ число тѣхъ, которые прославились... Разумѣется, мнѣ придется начинать съ нѣшки, скажу прямо, мнѣ придется быть сперва простымъ плотничьимъ ученикомъ, ходить въ картузѣ, несмотря на то, что я привыкъ носить шелковую шляпу. Мнѣ придется таскать простымъ подмастерьямъ пиво и водку, и они всѣ станутъ мнѣ говорить «ты»... Вотъ это только очень ужъ обидно! Но дѣлать нечего! Я буду воображать себѣ, что все это маскарадъ и маскарадныя вольности. А когда я выберусь въ люди, я пойду по своей собственной дорогѣ и до другихъ прочихъ мнѣ дѣла нѣтъ! Я поступлю въ академію, стану учиться рисованью, меня всѣ будутъ называть архитекторомъ. Вотъ это такъ, дѣйствительно, «кое-что»! Я вѣдь могу попасть въ «ваше благородіе»! — могу попасть даже въ «ваше высокоблагородіе»! Я вѣдь могу даже получить прибавочку къ началу и къ концу своего имени, да! И вотъ я строю себѣ, строю точь въ точь, какъ другіе строили прежде меня. Да это такая вещь, на которую можно рассчитывать всегда! Это «кое-что»!

— А я такъ равнехонько ничего не вижу въ этомъ «кое-что»,—сказалъ четвертый братъ.—Я не желаю плестись по чужой бороздѣ, не хочу быть копіей! Я хочу быть геніемъ, я хочу одинъ значить больше, чѣмъ всѣ вы, взятые вмѣстѣ! Я создамъ новый стиль, я начерчу планъ зданія сообразно съ климатомъ и матеріалами страны, съ національностью народа и съ развитіемъ вѣка... Да еще вдобавокъ прибавлю этажъ для своего собственнаго генія.

— Ну, а что если климатъ и матеріалы никуда не годящіеся?—сказалъ пятый.—Вѣдь это будетъ штука пренепріятная, потому что они имѣютъ большое вліяніе. Национальность тоже можетъ разрастись и расшириться до такой степени, что перейдетъ ужъ въ уродство, а развитіе вѣка пройдетъ, пожалуй, вмѣстѣ съ тобою, какъ часто проходитъ юность. Я ужъ заранѣе вижу, что никому изъ васъ не быть «кое-чѣмъ», что вы тамъ себѣ ни воображайте. Но дѣлайте, какъ знаете! Что до меня касается, то я не намѣренъ поступать по-вашему. Я стану выше всего этого! Я буду разбирать то, что вы станете дѣлать,—я буду строго разбирать. Въ каждой вещи всегда есть что-нибудь, да не такъ, что-нибудь да навыворотъ,—вотъ это-то я и стану выкапывать, объ этомъ-то я и буду толковать. Вотъ мое занятіе такъ «кое-что», а ваше—ваше такъ, шваль!

Какъ посулился пятый братъ, такъ и сдѣлалъ, и люди про него сказали:

— Въ этомъ маломъ положительно есть «кое-что»! Свѣтлая у него голова! Только ничего онъ не дѣлаетъ.

Но, именно, поэтому-то онъ и считался «кое-чѣмъ».

Это, видите ли, очень коротенькая исторійка, а все-таки ей не будетъ конца, пока будетъ свѣтъ стоять.

Но неужели изъ всѣхъ пяти братьевъ такъ-таки ничего и не вышло?

Ну, не то, чтобы ужъ совсѣмъ ничего, но нельзя сказать, чтобы вышло и «кое-что».

Послушаемъ дальше, — это цѣлая сказка.

Старшій братъ, тотъ, что занялся выдѣлкой кирпичей, скоро увидалъ, что отъ каждаго кирпича, когда онъ совсѣмъ готовъ, отскакиваетъ маленькая монетка, хотя эта монетка и мѣдная, но вѣдь нѣсколько мѣдныхъ монетокъ, если ихъ сложить вмѣстѣ, составляютъ цѣлый талеръ, а съ талеромъ куда вы ни постучитесь, хоть къ хлѣбнику, хоть къ мяснику, хоть къ портному, — однимъ словомъ, къ кому бы то ни было, вездѣ передъ вами распахнутся двери настежь, и вы получите то, что вамъ нужно.

Да, вотъ что отскакиваетъ отъ кирпичей, и хотя нѣкоторые изъ нихъ раскрошатся или разобьются, но и такіе идутъ въ дѣло.

Одна бѣдная женщина, по имени Маргарита, вздумала выстроить себѣ домикъ на высокомъ земляномъ валу, что служитъ плотиною морскому берегу, и вотъ ей отдали всѣ раскрошившіеся кирпичи да еще прибавили къ нимъ и нѣсколько цѣльныхъ, потому что у старшаго брата было предоброе сердце, — хотя онъ и не очень-то далеко ушелъ и всего на все только дѣлалъ кирпичи.

Бѣдная женщина построила себѣ домикъ. Домикъ этотъ былъ плохонекъ, тѣсенъ, одно окно торчало совсѣмъ наискось, дверь была черезчуръ ужъ низка, да и соломенную-то крышу, говоря правду, можно бы покрыть получше.

Но у бѣдной женщины все-таки теперь былъ пріютъ и, кромѣ того, изъ косога окошка открывался далекій

видъ на море, которое съ силою ударялось о береговой валъ.

Соленыя волны обрызгивали своей пѣной весь домикъ, — домикъ, который еще стоялъ тогда, когда тотъ, кто въ него дѣлалъ кирпичи, давнымъ-давно умеръ и лежалъ въ могилѣ.

Второй братъ — о, этотъ не въ примѣръ лучше разумѣлъ ремесло каменщика. Выдержавъ испытаніе, получивъ званіе подмастерья, онъ накинулъ дорожную сумку на плечи и затянулъ пѣсню ремесленника, пѣсню, гдѣ пѣлось о томъ, что молодому ремесленнику необходимо повидать свѣтъ, что всюду, куда бы молодой ремесленникъ ни явился, для него найдется дѣло, что слѣдуетъ вездѣ побывать, хорошенько потрудиться, а потомъ, когда вернешься домой, обзавестись домкомъ и зажить припѣваючи.

— Ура! Я мастеръ!

Такой былъ припѣвъ пѣсенки.

II, дѣйствительно, второй братъ сталъ мастеромъ. Вернувшись домой, онъ началъ строить въ городѣ домъ за домомъ, застроилъ цѣлую улицу, и когда эта улица была окончена, она вышла удивительно какъ красива и сдѣлалась украшеніемъ города.

Всѣ дома, что онъ строилъ, въ свою очередь, выстроили ему домъ, который поступилъ въ его собственность.

Какъ же это такъ? Развѣ дома могутъ строить?

Поди, спроси у домовъ, они тебѣ отвѣта не дадутъ, но люди сейчасъ же подхватятъ и скажутъ:

— Разумѣется, улица выстроила ему домъ.

Домъ-то былъ малъ, а полъ глиняный, но когда онъ тутъ пустился въ танцы съ своей невѣстой, этотъ полъ такъ и заблестѣлъ, а изъ каждаго камня на стѣнѣ вы-

росло по цвѣтку, и они украсили комнату великолѣпнѣйшими обоями.

Это былъ премоленъкій домикъ и пресчастливая парочка.

Цеховое знамя развѣвалось передъ домикомъ, и подмастерья и ученики кричали:

— «Ура!» «ура!»

Да, вотъ этотъ сдѣлался «кое-чѣмъ».

А потомъ онъ умеръ, и это тоже было вѣдь «кое-что».

Ну, теперь пойдетъ рѣчь про архитектора, про третьяго брата. Онъ былъ сначала плотничьимъ ученикомъ, ходилъ въ картузѣ, былъ на посылкахъ у подмастерьевъ, а изъ академіи вышелъ въ архитекторы и сталъ называться «благородіемъ» или «высокоблагородіемъ».

Да, дома на той улицѣ выстроили домъ брату-каменщику, а улица стала называться по имени архитектора, а самый лучший домъ ужъ, конечно, былъ его собственный.

Это, дѣйствительно, было «кое-что», и онъ тоже былъ чѣмъ-то, да еще и съ предлиннымъ титуломъ передъ именемъ и послѣ имени.

Его дѣтей звали теперь «благородными дѣтьми», а жену, когда онъ умеръ, — «благородною вдовою». Это «кое-что»!

И его имя навсегда осталось на углу улицы, и всѣ это имя повторяли, какъ имя улицы.

Да, это, дѣйствительно, «кое-что».

Теперь слѣдуетъ геній, четвертый братъ, который собирался непременно изобресть что-нибудь новое, совсѣмъ особенное, небывалое, да еще съ прибавкой одного этажа.

Но этотъ этажъ упалъ, и онъ слетѣлъ вмѣстѣ съ нимъ и сломалъ себѣ шею.

Зато ему справили отличнѣйшія похороны, съ цеховыми знаменами и съ музыкой, съ цвѣтами красно-рѣчія въ газетахъ и съ цвѣтами на улицѣ по мостовой.

И были надъ нимъ произнесены три надгробныя рѣчи, одна другой длиннѣе, а это, должно полагать, очень его порадовало, потому что онъ очень любилъ, когда о немъ говорили.

Надъ его могилой поставили памятникъ, — правда, въ одинъ только этажъ, но ужъ и это «кое-что».

Ну, вотъ онъ и умеръ, точно такъ же, какъ и другіе три брата.

Но послѣдній, пятый, тотъ, что все рассказывалъ, пережилъ ихъ всѣхъ.

Оно такъ и слѣдовало, потому что такимъ образомъ за нимъ осталось послѣднее слово, а это для него было очень важно — сказать послѣднее слово.

— Славная это голова! Свѣтлая голова! — говорили люди.

Наконецъ пришло и его время.

Онъ умеръ и подошелъ къ дверямъ рая.

Надо вамъ сказать, что туда всегда подходятъ вдвоемъ, къ этимъ дверямъ, и онъ стоялъ тамъ вмѣстѣ съ другой душой, которой тоже очень хотѣлось войти въ рай, и эта душа была именно старая, убогая Маргарита изъ домика на плотинѣ.

«Ужъ это, навѣрно, для контраста я здѣсь и стою, и войду въ одно время съ этой жалкой душонкой!» подумалъ резонеръ.

— Ну-съ, кто ты такая, красавица, откуда? И тебѣ тоже хочется сюда? А? — сказалъ онъ.

Старушка поклонилась ему низко, какъ только могла; она подумала, что это самъ святой привратникъ.

— Я бѣдная старуха безъ роду и безъ племени, —

сказала она, — я старая Маргарита изъ домика на плотинѣ.

— Ну-съ, старая Маргарита изъ домика на плотинѣ, что жь ты сдѣлала, что совершила на землѣ?

— Охъ, ничего я не совершила такого, за что бы меня слѣдовало сюда впустить! Это будетъ истинная милость, если мнѣ позволятъ проскользнуть въ дверь!

— Какимъ образомъ ты оставила тотъ свѣтъ? — продолжалъ резонеръ.

Онъ разспрашивалъ ее такъ единственно потому, что ему становилось скучно долго стоять и ждать.

— Какъ я оставила свѣтъ? Я право не знаю. Я была такая больная и убогая въ эти послѣдніе годы, и вдругъ мнѣ пришлось встать съ постели и разомъ перейти на морозъ и на холодъ, и я ужь этого и не перенесла. Зима нынче такая лютая. Нѣсколько дней погода стояла тихая, но холодная такая, что Боже упаси, — ваша милость, вѣрно, и сами это знаете, — море все снѣгомъ было покрыто и льдомъ, такъ далеко, какъ только можно видѣть глазомъ; всѣ люди изъ города вышли погулять на ледъ, тамъ, говорятъ, устроилось катанье на конькахъ и, кажется, танцы; была тамъ тоже музыка, было и угощенье. Я слышала музыку очень явственно изъ своей каморки, — лежала тогда въ постели.

«Дѣло было подъ вечеръ, мѣсяцъ взомель такой красивый, хотя еще и не совсѣмъ ярко свѣтилъ. Я посмотрѣла съ своей постели на море, и тамъ, далеко-далеко-далеко, какъ разъ на краю неба, вдругъ, вижу, вынырнуло какое-то удивительное бѣлое облако.

«Я лежала и глядѣла на это облако, глядѣла тоже и на крохотную черную точку, что виднѣлась въ серединѣ облака.

«Эта точка становилась все больше и больше.

«Я догадалась, что это значить.

«Я стара и потому все могла смекнуть, въ чемъ дѣло. Два раза въ жизни моей я видѣла это знаменье, я узнала его, и на меня напалъ ужасъ.

«Я поняла, что быть страшной бурѣ съ приливомъ. Буря шла туда, гдѣ эти бѣдные люди безпечно шли, скакали и веселились! И старшій и малый, всѣ, весь городъ былъ на льду.

«Кто же предупредить ихъ?

«Никто не видалъ, да никто и понять, пожалуй, не могъ того, что мнѣ было извѣстно.

«Мнѣ стало такъ страшно, что я вдругъ почувяла въ себѣ такія силы, какихъ у меня давно ужъ не было. Я встала съ постели и подошла къ окну. Дальше я не могла дотащиться — устала. Однако окно все-таки мнѣ удалось открыть. Я видѣла, какъ тамъ, на льду, люди бѣгаютъ, прыгаютъ, вертятся, какъ яркіе флаги развѣваются въ воздухѣ; я слышала, какъ ребятишки кричать «ура», а рабочіе поютъ, — тамъ было очень весело.

«А бѣлое облако съ черной точечкой? Оно все на-двигалось!

«Я закричала, какъ только смогла громче, но никто не услышалъ меня, — я была отъ нихъ слишкомъ далеко.

«Вотъ-вотъ должна была начаться страшная буря. Тогда ледъ вдругъ треснетъ, и всѣ, кто тамъ есть, погибнутъ.

«Имъ не услыхать меня, а бѣжать туда, къ нимъ, я не могла.

«О, если бы только можно было ихъ какъ-нибудь вывести на землю!

«Вотъ тутъ-то и внушилъ мнѣ Господь мысль зажечь свою постель, спалить весь домикъ, только бы не допустить, чтобы столько людей погибло.

«И вотъ я поставила имъ свѣточъ—красное пламя высоко взвилось, а я благополучно выбралась за двери и тутъ, за дверями, осталась, потому что дальше-то ужъ ноги не понесли.

«Пламя дотрогивалось до меня, вылетало изъ оконъ, пробивалось языками изъ-подъ крыши,—однимъ словомъ, такъ играло, что, наконецъ, люди на льду его увидали и пустились всѣ бѣжать изо всѣхъ силъ, чтобы помочь бѣдной старухѣ, которой, они себѣ вообразили, придется сгорѣть заживо.

«Не нашлось ни единого человѣка, который бы не бросился бѣжать.

«Я слышала, какъ они бѣгутъ ко мнѣ, и въ то же самое время услышала, какъ въ воздухѣ вдругъ загремѣло, раскатились точно пушечные выстрѣлы.

«Приливъ поднялъ ледъ, и ледъ разлетѣлся на тысячи кусковъ!

«Но люди ужъ были на плотинѣ.

«Надо мной летали искры, но я спасла ихъ всѣхъ.

«Я, однако, не могла вынести благополучно холода, а также и испуга.

«И вотъ я очутилась здѣсь, у дверей рая. Говорятъ, что эти двери отворяются даже такимъ горемычнымъ бѣднякамъ, какъ я.

«У меня теперь даже нѣтъ и домика на плотинѣ,—но, вѣрно, изъ-за такой бездѣлицы меня сюда не пустятъ!»

Въ эту минуту распахнулись двери рая, и ангелъ ввелъ туда старую женщину.

Входя, она обронила соломинку, одну изъ тѣхъ соломинокъ, что были у ней въ постели, которую она зажгла для спасенія людей, и эта соломинка тотчасъ же превратилась въ чистѣйшее золото, да еще въ такое

золото, которое все росло-росло и вдругъ распускалось прелестнѣйшими цвѣтами.

— Видишь, что принесла «бѣдная старуха Маргарита съ плотины»?—сказалъ ангелъ резонеру.—А ты что принесъ? Да! да! Я знаю, ты не совершилъ ничего, ты даже не сдѣлалъ ни одинаго кирпича. Впрочемъ, если бы ты теперь могъ возвратиться на землю и сдѣлалъ бы тамъ кирпичъ, такъ этотъ кирпичъ былъ бы не важный. Но все-таки будь онъ сдѣланъ съ добрымъ помысломъ и намѣреніемъ, онъ могъ бы кое-что значить. Да тебѣ ужъ вернуться назадъ нельзя, и я ничѣмъ не могу тебѣ служить.

Тутъ бѣдная душа, «старуха Маргарита изъ домика на плотинѣ», стала за него просить.

— Его братъ подарилъ мнѣ кирпичи и кирпичные обломки на постройку домика, а это много значило для меня, убогой старухи. Нельзя ли такъ, чтобъ все эти обломки и цѣльные кирпичи пошли за его одинъ кирпичъ? Это вѣдь было милосердіе, а онъ теперь въ немъ нуждается.

— Твой братъ,—сказалъ ангелъ резонеру,—котораго ты считалъ самымъ ничтожнымъ, чье честное занятіе казалось тебѣ такимъ низкимъ, теперь выводитъ тебя изъ бѣды. По его милости, ты не будешь отверженъ: тебѣ будетъ дозволено стоять здѣсь за дверями и размышлять. Но размышляй хорошенько и, можетъ, найдешь, чѣмъ загладить свою жизнь на землѣ. Въ рай ты не пойдешь до тѣхъ поръ, пока ты, дѣйствительно, не совершишь чего-нибудь.

«Ну, я могъ бы выразить все это не въ примѣръ лучше», подумалъ резонеръ.

Подумалъ, но не сказалъ, и это было уже «кое-что».



Муза новаго вѣка.



Муза новаго вѣка, та, которую узнаемъ не мы, а наши правнуки, а можетъ-быть, еще позднѣйшее поколѣніе, — когда она появится?

Какой-то будетъ у нея образъ? О чемъ она будетъ пѣть?

Какія душевныя струны она станетъ затрогивать?
На какую высоту она подниметъ свой вѣкъ?

Вотъ сколько является вопросовъ въ наше неспокойное время, когда поэзія каждому чуть не стоитъ поперекъ дороги, и когда навѣрное знаешь, что многія

безсмертныя созданія, написанныя поэтомъ нынѣшняго времени, можетъ-статься, въ будущемъ подвергнутся той же участи, какой подвергаются надписи, начерченные углемъ на тюремныхъ стѣнахъ: увидать и прочтуть ихъ только немногіе любопытные.

Поэзія должна провести свою руку, должна, по крайней мѣрѣ, принести первый зарядъ въ тѣ битвы партій, гдѣ льются тамъ кровь, тутъ чернила.

— Это только одна скучная, утомительно-однообразная болтовня! — скажутъ многіе. — Поэзія еще не позабыта въ наше время и вовсе не заброшена.

Нѣтъ, есть еще люди, которые «съ похмелья» чувствуютъ потребность въ поэзіи и непременно, какъ только заслышатъ это душевное урчанье въ надлежащихъ благородныхъ частяхъ своего организма, тотчасъ же шлютъ въ книжный магазинъ купить на цѣлый грошъ поэзіи, — поэзіи первый сортъ.

Иные довольствуются и тою, что получается «въ прибавленіяхъ», а не то удовлетворяются и поэзіей лавочныхъ билетовъ.

Это гораздо дешевле, а въ наше работающее и расчетливое время необходимо принимать дешевицу въ расчетъ.

Есть потребность въ томъ, что имѣемъ, ну, и довольно! Поэзія будущаго, точно такъ же, какъ и музыка будущаго, одно донъ-кихотство. Говорить о ней все равно, что говорить объ открытіи ея на Уранѣ.

Время отмѣрено такъ скупо и такъ оно драгоцѣнно, что его нельзя тратить на игры фантазіи, а что такое — коли ужъ разсуждать разумно — что такое поэзія?

Эти звучныя гармоническія изліянія чувствъ и мыслей не что вѣдь иное, какъ колебаніе и движеніе нервовъ.

Всякое вдохновеніе, всякая радость, всякое горе, — все это, говорятъ ученые, — одно дрожаніе нервовъ.

Всѣ мы, каждый изъ насъ не что иное, какъ струнная гамма!

Но кто же по этимъ струнамъ ударяетъ?

Кто заставляетъ ихъ колебаться и дрожать?

Духъ заставляетъ звучать въ нихъ свое чувство, свое настроеніе.

И другія струнныя гаммы понимаютъ его и звучать съ нимъ заодно и сливаются въ тоны, могучіе диссонансы.

Такъ было, такъ и будетъ въ свободномъ, сознательномъ движеніи человѣчества впередъ.

У всякаго столѣтія — можно даже сказать, у всякаго тысячелѣтія — есть высокое выраженіе его величія.

Это величіе рождается въ отдѣльномъ, замкнутомъ періодѣ и впервые обнаруживается и пріобрѣтаетъ значеніе только въ новомъ, слѣдующемъ періодѣ.

Значить, муза новаго вѣка уже родилась въ наше хлопотливое, грохочущее машинами, время. Шлемъ ей привѣтъ. Пусть она когда-нибудь услышитъ и прочитаетъ его, можетъ, между тѣми надписями углемъ, про которыя мы только что упомянули.

Колыбель новой музыки изошла изъ самой крайней точки, куда только ступала человѣческая нога, изслѣдуя сѣверный полюсъ, оттуда, куда только заглядывалъ живой глазъ «въ черные угольные мѣшки полярнаго неба».

Но за стукомъ и трескомъ машинъ, за свистомъ локомотивовъ, за взрывами скалъ и старыхъ умственныхъ оковъ мы не слышали ея хода.

Родилась она въ нашей великой фабрикѣ современности, гдѣ такъ проявляетъ мощь свою парь, и гдѣ

денно и ноцно работаетъ мастеръ «безкровный», съ своими помощниками.

У музы новаго вѣка сердце женщины, — великое, полное любви сердце, въ которомъ соединяется пламя весталки съ огнемъ страсти. Ей дарована молнія разума со всеми мѣняющимся сквозь тысячелѣтія красками призмы, которыя цѣнились и требовались, смотря по модѣ.

Съ отцовской стороны муза новаго вѣка — дитя народа, съ здоровымъ чувствомъ и здоровою мыслию, съ серьезнымъ взглядомъ, съ юморомъ на устахъ. Мать ея — знатная дочь эмигранта, госпожа, воспитанная въ академіи съ золотыми воспоминаніями рококо.

Музѣ новаго вѣка положены въ колыбель на зубокъ чудесные подарки.

Вмѣсто конфетъ ей насыпали кучу таинственныхъ загадокъ природы вмѣстѣ съ разгадками, много досталось ей диковинокъ изъ водолазнаго колокола съ морской глубины; на пологѣ ея колыбели оттиснута небесная карта — этотъ висячій океанъ съ мириадами острововъ, изъ которыхъ каждый составляетъ особый міръ; солнце рисуетъ картины, а фотографія должна доставлять ей игрушки.

Кормилица музы новаго вѣка пѣла ей сѣверныя пѣсни скальда Эйвинда, пѣсни миннезингеровъ и то, что пѣла родина въ своей отроческой смѣлости прямо изъ глубины творческой души.

Много, очень много разказала кормилица музѣ новаго вѣка. Она знаетъ Эдду, знаетъ наводящія ужасъ саги прабабушки, — саги, гдѣ часто раздаются проклятія. Въ четверть часа она прослушала все тысячу и одну ночь.

Муза новаго вѣка еще дитя, но уже выпрыгнула изъ люльки. Муза новаго вѣка полна силъ, только она еще сама не знаетъ, чего она хочетъ.

Она еще играетъ у кормилицы, въ своей громадной дѣтской, которая доверху завалена сокровищами искусства во вкусѣ рококо.

Греческая трагедія и римская комедія стоятъ тутъ, изваянные изъ мрамора, народныя пѣсни разныхъ племень висятъ по стѣнамъ, какъ сушенныя растенія — одинъ поцѣлуй, и они всѣ снова оживутъ и заблагоухаютъ.

Вокругъ нея раздаются безсмертные аккорды Бетховена, Глюка, Моцарта, разносятся звучащія гармоническія мысли всѣхъ великихъ мастеровъ.

На книжныхъ полкахъ лежатъ многіе тѣ, которые въ свое время звались «вѣчными», и есть мѣсто для многихъ другихъ, чьи имена звучатъ на телеграфной проволоцѣ безсмертія, но вмѣстѣ съ телеграммой и умолкаютъ.

Читала муза новаго вѣка изумительно много, — даже черезчуръ ужъ много, — но вѣдь она родилась въ наше время, значитъ, ей придется многое забывать, и она сумѣетъ забыть.

Она не думаетъ про свое пѣніе, которое раздастся въ новомъ тысячелѣтїи и заживетъ, подобно созданіямъ великаго восточнаго творца.

Муза новаго вѣка еще не думаетъ о своемъ призванїи, не мечтаетъ о своей громкой будущности. Она еще играетъ, а между тѣмъ идетъ битва народовъ, — битва, отъ которой дрожитъ воздухъ, и которая вырѣзываетъ перьями и камнями и звучащія фигуры и неразборчивыя руны.

Муза новаго вѣка носить гарибальдійскую шапочку, читаетъ Шекспира и съ минутку думаетъ:

«Вѣдь его можно еще будетъ играть, когда я вырасту!»

Кальдеронъ покоится въ саркофагѣ своихъ произведеній.

Гальберга муза новаго вѣка, — вѣдь она космополитка! — переплела въ одинъ томъ съ Мольеромъ, Плавтомъ и Аристофаномъ.

Но читаетъ она больше и охотнѣе всего Мольера.

Она не отличается безпокойствомъ и юркостью альпійской серны, а все-таки душа ея жаждетъ соли жизни, какъ серна жаждетъ соли горъ; ея сердце обрѣло то самое спокойствіе, которымъ обладали древніе евреи, эти кочующія племена, бродящія въ тихія звѣздныя ночи по зеленымъ равнинамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ сердцахъ у нея кипитъ пѣсня, звучнѣе пѣсни вдохновеннаго воина эссалійскихъ горъ, время греческой древности.

Муза новаго вѣка выучила великое и малое единожды; она обломала себѣ одинъ молочный зубъ «о первобытную стихію», но зато у нея выросъ новый — философіи; еще въ колыбели она отвѣдала отъ яблока знанія.

Когда настанетъ новый вѣкъ поэзій? Когда появится муза, когда покажетъ себя? Когда человѣчество ее услышитъ?

Пронесется ли она въ одно прекрасное весеннее утро съ громомъ, на драконовыхъ крыльяхъ локомотива, черезъ тоннели и виадукты, или примчится по богатому, гордому морю на пыхтащемъ дельфинѣ, или прилетитъ по воздуху на птицѣ «Рокъ» Монгольфьера и спустится на землю тамъ, откуда божественный ея

голосъ впервые будетъ привѣтствовать родъ человѣческій?

Откуда она принесется, гдѣ остановится?

На землѣ Колумба, гдѣ туземецъ долго былъ травленнымъ звѣремъ, а африканецъ — вьючнымъ скотомъ, на землѣ, откуда донеслась до насъ пѣсня «Хиавахта»?

Или будетъ это въ странѣ антиподовъ; въ странѣ противоположностей, гдѣ черные лебеди поютъ въ мимозовыхъ роцахъ, а во время нашей ночи сияетъ день?

Или будетъ это въ странѣ, гдѣ звенѣла и еще звенитъ Мемнонова статуя?

Или будетъ на каменноугольномъ островѣ, гдѣ со времени Елизаветы царствуетъ Шекспиръ?

Или это будетъ на родинѣ Тихо-де-Браге?

Или это будетъ въ сказочной странѣ Калифорніи, гдѣ Веллингтоново дерево подымаетъ свою вершину?

Когда загорится на челѣ музы звѣзда? Когда засияетъ цвѣточный вѣнецъ, на листьяхъ котораго вѣкъ напечатаетъ свое выраженіе красоты въ формѣ, въ цвѣтѣ и въ ароматѣ?

— А что жъ программа новой музыки, какая? — спрашиваютъ ученые депутаты общей сходки нашего вѣка. — Скажите, чего она хочетъ!

Вы лучше спросите, чего она не хочетъ!

Муза новаго вѣка не выступитъ призракомъ давно протекшихъ временъ; она не станетъ мастерить драмъ изъ заброшенныхъ сценическихъ великолѣпій, не станетъ припрятывать недостатки драматической архитектуры ослѣпительной драпировкой лирики, — она помчится, какъ Теспинова колесница къ мраморному амфитеатру. Она не станетъ разрывать на клочки здоровую человѣческую рѣчь и потомъ снова ее спаивать, не станетъ заниматься трезвономъ колокольчика съ вкрад-

чиво льстивыми звонками изъ временъ трубадурскихъ турнировъ. Она не будетъ считать стихи благородными и высокими, а прозу — мѣщанской и низкой: они равны по всему — и по звуку, и по полнотѣ, и по силѣ. Она не станетъ ваять старыхъ боговъ изъ легендарныхъ скалъ Исландіи: эти старые боги умерли, у новаго времени нѣтъ къ нимъ сочувствія: новому времени нѣтъ донихъ дѣла, оно имъ не родня. Она не станетъ заставлять своихъ современниковъ втискивать мысли въ пьяные французскіе романы, не станетъ одурять потихоньку хлороформомъ пошлыхъ будничныхъ исторій.

Нѣтъ! Она несетъ съ собою жизненный эликсиръ. Пѣнь ея въ стихахъ и прозѣ будетъ кратка, ясна, богата.

Она схватится за біеніе сердца каждой національности: каждое такое біеніе — это одна буква въ большой азбукѣ всеобщаго развитія; каждую букву возьметъ она съ одинаковою любовью и станетъ изъ этихъ буквъ складывать слова, а изъ словъ советъ рѣшмы для гимна своего вѣка.

Но когда же наступятъ эти времена?

Намъ, теперь живущимъ, время покажется длиннымъ, но оно быстро пронесется для тѣхъ, кто пролетѣлъ впередъ.

Скоро китайская стѣна повалится, европейскія желѣзныя дороги проникнутъ въ азіатскій архивъ культуры и два культурныхъ потока встрѣтятся.

Тогда, быть-можетъ, загремитъ потокъ этотъ своими глубокими волнами; мы, старики, затрепещемъ, услыхавъ мощные тоны, глядя на паденье старыхъ боговъ и забывая, что здѣсь, на землѣ, поколѣнія исчезаютъ, и отъ нихъ остается только маленькая картинка въ рамкѣ слова, — картинка, которая плыветъ по потоку

вѣчности, словно цвѣтокъ лотоса, говорящій намъ, что все подобныя картинки — плоть отъ плоти нашей, и только разнятся другъ отъ дружки украшеніями и отдѣлкою. Картинки Іудей выступаютъ въ Библии, картина Греціи — въ Илиадѣ и Одиссеѣ.

А наша картина?

Спроси у музы новаго вѣка, когда новый Гимле поднимается просвѣтленный и понятный.

Вся сила пара, весь гнетъ современности послужили къ этому рычагами.

Мастеръ «безкровный» и его богатыри-товарищи, казавшіеся такими могущественными властелинами нашего времени, оказались не болѣе, какъ слугами, черными рабами, которые украшаютъ пиршественный залъ, приносятъ сокровища, накрываютъ столъ для громаднаго праздника, гдѣ муза, невинная, какъ младенецъ, вдохновенная, какъ дѣва, спокойная и знающая, какъ зрѣлая женщина, — муза — это богатое, неистощимое сердце человѣческое, пылающее божественнымъ огнемъ, зажжетъ чудесную Аладинову лампу поэзіи.

Привѣтъ и поклонъ тебѣ, муза новаго вѣка.

Нашъ привѣтъ будетъ услышанъ, если онъ даже не что иное, какъ мысленный гимнъ червяка, перехваченнаго желѣзомъ плуга; когда плугъ, въ день вновь засіявшей свѣжей весны, прорѣзываетъ борозды и перехватываетъ червяковъ, для того, чтобы росла всякая благодать для новаго поколѣнія.

Привѣтъ тебѣ, муза новаго вѣка!



Анна-Лизбета.



Анна-Лизбета была, что называется, дѣвушка кровь съ молокомъ: молода, свѣжа, весела. Да, чудно хороша она была! Что за ослѣпительно-бѣлые зубы, что за искрометные глаза!

Анна-Лизбета легко танцевала и еще легче смотрѣла на жизнь.

Что изъ этого вышло?

«Скверный мальчишка!»

Правда, онъ хорошъ, точно, не быть.

Мальчишку «отдали» женѣ мужика, а Анна-Лизбета поступила въ графскій замокъ и сидѣла тамъ въ великолѣпномъ покоѣ, разряженная въ шелкъ и въ бархатъ.

Сохрани Боже, чтобъ на нее повѣялъ хоть малѣйшій вѣтерокъ! Никто не осмѣливался сказать ей грубаго слова, потому что это могло повредить ей, а такой бѣды не должно было случаться.

Анна-Лизбета кормила грудью графское дитя, а графское дитя нѣжно, какъ принцъ, и прелестно какъ ангель.

Какъ любила Анна-Лизбета маленькаго графчика! Ея собственное дитя,—ну, того пристроили, —отдали мужику.

У мужика было не роскошно. Совсѣмъ напротивъ. Мальчику по большей части приходилось сидѣть одному дома, и тогда онъ принимался плакать.

Но вѣдь чего никто не слышитъ, то никого и не трогаетъ.

Мальчикъ плакалъ, бывало, пока не заснетъ, а вѣдь во снѣ ужъ не чувствуешь ни голода ни жажды. Сонъ—выдумка хорошая.

Съ годами даже и негодная трава растетъ, выросъ и Лизбетинъ мальчикъ, но все-таки говорили, что онъ малъ не по лѣтамъ.

Мальчикъ словно приросъ къ семейству мужика, — вѣдь они получали за него плату.

Анна-Лизбета совсѣмъ отступилась отъ мальчика. Анна-Лизбета сдѣлалась городской дамой. Ей было очень хорошо въ графскомъ домѣ, а когда она выходила на прогулку, то надѣвала шляпку и вуаль.

Но Анна-Лизбета никогда не ходила гулять туда, гдѣ жилъ мужикъ. Это было слишкомъ далеко, да къ

тому жъ ей тамъ и нечего было дѣлать, вѣдь мальчикъ принадлежить не ей, а тѣмъ рабочимъ людямъ, которымъ его отдали.

— Пусть его ѣсть онъ тамъ свой хлѣбъ,— говорила Анна-Лизбета,— а для хлѣба надо же и поработать немножко.

Поэтому-то мальчикъ и стерегъ рыжую корову Матцъ Матцена. Мальчикъ ужъ могъ стеречь скоть и приносить пользу.

Цѣпная собака на господскомъ дворѣ гордо сидитъ въ хорошую погоду на кровелькѣ своей конуры и надменно лаеетъ на проходящихъ, а пойдетъ дождь, собака залѣзетъ въ конуру и лежитъ въ конурѣ; тамъ ей тепло и сухо.

Мальчикъ Анны-Лизбеты въ хорошую погоду сидѣлъ на заборѣ и строгалъ колья. Весной онъ подмѣтилъ три земляничныхъ кустика въ цвѣту.

«На нихъ будутъ ягоды!» думалъ онъ.

Это была самая милая, самая отрадная у него мечта. Но ягодъ не родилось.

Въ непогоду, въ дождь мальчикъ тоже не сходилъ со двора. Промокнетъ онъ, бывало, насквозь, продрогнетъ до самыхъ костей...

Что жъ? Ничего. Вѣтеръ рѣзкій, студеный вѣтеръ высушитъ потомъ платье на тѣлѣ, а забредетъ онъ на господскій дворъ, ему тутъ надаютъ толчковъ, пинковъ и затрецинтъ.

— Онъ такой противный! — говорили слуги и служанки.

И онъ къ этому привыкъ, — онъ привыкъ къ тому, что его никто не любилъ.

Вотъ какое житье было Лизбетиному мальчику.

Да какъ же оно и могло быть иначе? Это ужъ такая была его судьба, чтобъ его никто не любилъ.

До сихъ поръ онъ былъ «ракъ сухопутный», а теперь и земля отъ него отступилась.

Да, отступилась и выбросила его за бортъ.

Его отправили на жалкомъ суденышкѣ въ море. Онъ сидѣлъ у руля, пока шкиперъ смаговать рюмку водки.

Онъ былъ такой грязный, такой гадкій, такой замерзлый! Онъ умиралъ съ голоду. Всякій, глядя на него, могъ легко догадаться, что онъ отроду не наѣдался досыта.

И такъ оно и было на самомъ-то дѣлѣ.

Была поздняя, дождливая осень; погода стояла суровая, сырая, вѣтряная. Такъ васъ и пронизывало насквозь, особенно на морѣ.

Жалкое суденышко съ однимъ парусомъ и съ двумя, или, говоря вѣрибѣ, съ полутора человѣками, шкиперомъ и юнгой, плыло по морю.

День былъ съ самаго разсвѣта мрачный, а тутъ стала ужъ и совсѣмъ темь. Холодъ такъ и жегъ, такъ и рѣзалъ.

Шкиперъ выпилъ рюмку водки, чтобъ хоть немножечко посогрѣться.

Бутылка была старая, рюмка тоже. Правда, рюмка сверху совсѣмъ еще была цѣла, но у нея была отбита ножка и стояла она теперь на маленькомъ вырѣзанномъ кусочкѣ дерева, который былъ расписанъ голубой краской.

«Отъ одной рюмки водки хорошо, отъ двухъ еще будетъ лучше!» подумалъ шкиперъ.

Мальчикъ все сидѣлъ у руля. Онъ крѣпко держался за него своими жесткими, мозолистыми ручонками.

Самъ онъ былъ такой противный, косматый, хилый, уродливый.

Вѣтеръ дулъ по-своему, а судно плыло по-своему. Парусъ вздулся, его такъ натянуло вѣтромъ, что судно ужъ не плыло, а летѣло.

Холодно, сыро было въ воздухѣ, но могло сдѣлаться еще холоднѣе и еще сырѣе.

Стой! Что это случилось такое? Что такое ударило? Что треснуло?

Судно повернулось и легло на бокъ.

Что это, изъ тучъ хлынулъ ливень и море всколебалось?

Мальчикъ на кормѣ громко вскрикнулъ:

— Господи! Господи!

Судно наткнулось на большой подводный камень и пошло ко дну, — нырнуло, какъ старый башмакъ въ канаву, потонуло, какъ говорится, съ людьми и съ мышами.

Мышей - то на немъ было довольно, а людей всего полтора человекъ: шкиперъ да мальчикъ, что былъ отданъ мужику.

Никто не видалъ этого, кромѣ летающихъ морскихъ чаекъ да плавающихъ внизу рыбъ, да и тѣ хорошенько-то не разсмотрѣли, потому что разлетѣлись и юркнули куда попало, когда въ корабль съ шумомъ ворвалась вода и онъ началъ тонуть.

И вотъ корабль тамъ подъ волнами, на сажень отъ поверхности воды.

Ну-да зато теперь двое ужъ окончательно пристроены. Они погребены и забыты.

Только одна рюмка съ голубой деревянной ножкой не потонула: ее держала поверхъ воды ножка.

Рюмка понеслась по морю. Ее потомъ разобьетъ и принесетъ къ берегу.

Но гдѣ? Когда?

Какое же намъ до того дѣло?

Она довольно-таки на своемъ вѣку послужила. Ее любили въ свое время, а этого не случилось съ Лизбетинымъ мальчикомъ: его никто никогда не любилъ.

Анна-Лизбета ужь много лѣтъ жила въ городѣ. Она называлась теперь «мадамъ» и чувствовала себя хорошо только тогда, когда могла рассказывать свои воспоминанья про «графское» время, когда она ѣздила въ каретѣ и возилась все съ графинями да съ баронессами.

Ея очаровательный графчикъ былъ такая прелесть, что и рассказать невозможно. Просто милашка! И какъ онъ любилъ ее! И какъ она любила его! Какъ они ласкали и цѣловали другъ дружку! Да, онъ былъ ея радость, ея жизнь!

Теперь графчикъ уже подростъ; ему четырнадцать лѣтъ. Какъ онъ хорошъ собою! Какъ онъ воспитанъ! Какъ ученъ!

Она не видала его давно, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ еще носила его на рукахъ. Да, давно ужь она не была въ графскомъ замкѣ. Вѣдь это очень далеко, туда надо предпринимать цѣлое путешествіе.

— Надо же, однако, рѣшиться! — сказала Анна-Лизбета. — Да, пойду я къ своей прелести, къ своему милому графчику! Онъ, навѣрное, тоже тоскуетъ обо мнѣ, графчикъ-то! Онъ, сердечный, тоже вспоминаетъ меня, любить, какъ прежде, когда, бывало, обовьетъ мою шею ручонками и кричитъ: «Анъ-Лисъ! Анъ-Лисъ!» А голосокъ у него — что твоя скрипка! Да, надо рѣшиться и пойти поглядѣть на него, на сокровище!

Анна-Лизбета доѣхала до деревни въ мясниковой телѣжкѣ, а оттуда отправилась пѣшкомъ въ графскій замокъ.

Замокъ графскій былъ попрежнему великъ, красивъ и роскошенъ, и садъ при замкѣ тоже.

Только люди-то въ замкѣ стали теперь ужъ совсѣмъ чужіе.

Теперь тамъ не было ни одного человѣка, который бы зналъ Анну-Лизбету. Никто и не подозрѣвалъ, что она прежде значила въ замкѣ.

Ну, ничего: графиня, навѣрное, скажетъ имъ это, а также и дорогой графчикъ.

О, какъ хотѣлось ей увидать это сокровище!

Ну, вотъ, наконецъ, Анна-Лизбета и въ графскихъ покояхъ.

Но ей-таки долгонько пришлось ждать, а кто ждетъ, тому время куда какъ долго кажется.

Наконецъ передъ обѣдомъ ее позвали къ графинѣ, и графиня очень милостиво съ нею разговаривала.

«Своего» графчика, свое дорогое сокровище она могла увидать только послѣ обѣда. Ее тогда позвуютъ.

Какой онъ сталъ большой, высокій, тонкій. Но у него остались прежніе чудные глаза и ангельскій ротикъ.

Онъ поглядѣлъ на нее, но ни слова ей не сказалъ.

Онъ не узналъ ее.

Онъ обернулся и хотѣлъ ужъ было уйти, но она схватила его за руку и прижала эту руку къ своимъ губамъ.

— Хорошо, хорошо, любезная! — сказалъ онъ.

И затѣмъ ушелъ изъ комнаты.

Да, ушелъ. Онъ, о комъ она думала съ такой любовью! Онъ, единственное ея сокровище! Онъ, кого одного она любила, да и теперь больше всего любить! Онъ, ея единственная гордость и утѣха на землѣ!

Анна-Лизбета вышла изъ замка на большую дорогу. Ей было очень тяжело и грустно.

Такъ вотъ какая она для него чужая! Онъ и не думалъ о ней. Онъ ни слова, ни единого ласковаго слова ей не сказалъ! Онъ, кого она когда-то носила на рукахъ, кого всегда имѣла въ мысляхъ!

Шла она и такъ горько размышляла, какъ вдругъ, откуда ни возмись, пролетѣлъ какъ разъ передъ нею большой черный воронъ и каркнулъ разъ, а затѣмъ и другой.

— Ахъ, ты этакій, — сказала Анна-Лизбета. — Вишь, пророчить несчастье. Каркай на свою голову!

Вотъ идетъ Анна-Лизбета мимо домишка мужика, на порогѣ стоитъ его жена и кланяется.

Онѣ разговорились.

— Кажись, тебѣ здоровья - то не занимать стать, — сказала мужичка. — Ишь ты какая полная да свѣжая! Тебѣ это пристало, ты просто красавица.

— Да, да! — отвѣчала Анна-Лизбета. — Разумѣется.

— А вѣдь судно - то потонуло съ ними, — сказала мужичка.

— Шкиперъ Ларсъ и мальчуганъ — оба потонули. Ужъ этимъ обоимъ конецъ. А я-то надѣялась, что мнѣ перепадетъ талеръ-другой отъ парнишка. Теперь уже онъ ничего тебѣ не будетъ стоить, Анна-Лизбета.

— Такъ они потонули? — сказала Анна-Лизбета и больше уже объ этомъ не заводила разговора.

Анна-Лизбета была очень огорчена. Ея дорогой графчикъ не показалъ никакой охоты съ нею разговаривать.

А уже она не любила ль его?

И сколько она проѣхала, чтобы только побывать у него, чтобы только на него взглянуть!

Ну, да и денегъ это тоже стоило.

Но немного радости дождалась она въ замѣѣ!

Однако она ничего объ этомъ не рассказывала, она не хотѣла облегчать своего сердца разговоромъ съ мужичкой.

Мужичка, пожалуй, еще подумаетъ, что уже она не пользуется прежнимъ уваженіемъ въ графской фамиліи.

Тутъ опять каркнулъ воронъ и пролетѣлъ надъ нею.

— Этакая противная птица! — сказала Анна-Лизбета. — Опять испугалъ меня.

Анна-Лизбета принесла съ собою намолотаго кофе и цикорію.

«Пусть, — думала Анна-Лизбета, — пусть бѣдная женщина выпьетъ чашечку-другую, это будетъ для нея истинная отрада.

«Да и я кстати выпью сама чашечку».

Мужичка стала варить кофе, а Анна-Лизбета прислонилась къ столу и заснула отъ усталости.

И тутъ приснился ей тотъ, кто никогда отроду еще не снился.

Странное дѣло! Ей пригрезился ея собственный ребенокъ, тотъ, что плакалъ и голодалъ здѣсь, въ этомъ убогомъ домикѣ, потомъ бродилъ по двору въ дождь и въ вѣтеръ, а теперь покоится на днѣ морскомъ.

Ей грезилось, что вотъ она сидитъ тутъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, а мужичка варитъ кофе, она очень хорошо слышитъ запахъ жаренаго кофе, а въ дверяхъ стоитъ прекрасный мальчикъ, прекрасный, какъ графское дитя — и этотъ мальчикъ говоритъ ей:

— Наступаетъ конецъ! Держись за меня покрѣпче, вѣдь ты все-таки мнѣ мать! Держись за меня покрѣпче!

Съ этими словами мальчикъ схватилъ ее за рукава рубашки, раздался страшный трескъ, цѣлый міръ рушился, и мальчикъ поднялся надъ землею и такъ

крѣпко держалъ ее, такъ крѣпко, что ей показалось, будто и она поднялась вмѣстѣ съ нимъ.

Но тутъ на ногахъ у нея повисло что-то тяжелое, что-то тяжелое налегло ей на тѣло, точно сотни женщинъ уцѣпились за нее, и всѣ эти женщины кричали:

— Если ты будешь спасена, то и мы должны быть спасены! Цѣпляйтесь, цѣпляйтесь!

И, дѣйствительно, всѣ онѣ прицѣпились.

Ихъ было чересчуръ много; «ричь-рачь!»—рукавъ разорвался, и Анна-Лизбета упала и проснулась.

Еще одно мгновеніе и она дѣйствительно бы упала вмѣстѣ со стуломъ, на которомъ сидѣла.

Она была въ такомъ волненіи, что не могла и припомнить, какой сонъ ей грезился.

Она знала только, что грезилось что-то ужасное.

Напились кофею, потомъ стали болтать о томъ, о семь, и, наконецъ, Анна-Лизбета пошла дальше, въ городъ, гдѣ она должна была отыскать извозчика, съ которымъ хотѣла ѣхать въ ту же ночь домой.

Но когда она сказала это извозчику, то извозчикъ объявилъ ей рѣшительно, что онъ раньше завтрашняго вечера ѣхать не можетъ.

Анна-Лизбета подумала, что путешествіе съ извозчикомъ и дорого будетъ стоить и долго продлится, и разсудила, что лучше ей итти домой пѣшкомъ.

Дорога вдоль морского берега была на двѣ мили короче проѣзжей, погода ясная, а ночь будетъ мѣсячная, — можно было смѣло пуститься въ путь.

— Пойду, такъ завтра же къ вечеру буду дома.

Солнце уже закатилось. Въ воздухѣ еще носился словно отзвукъ благовѣста къ вечернѣ въ деревянскихъ церквахъ,

Но нѣтъ, это не благовѣсть, а квакають, точно стонуть, лягушки въ тростникѣ.

Вотъ лягушки смолкли, все вокругъ стихло; не слышать ни одной птички, всѣ онѣ ужъ заснули. Даже совы и той не было дома.

На опушкѣ лѣса и на морскомъ берегу царствовала глубокая тишина. Анна-Лизбета не слыхала шума собственныхъ своихъ шаговъ, когда шла по прибрежному мелкому песку. Море не то, что не колыхалось, оно не двигалось. Въ глубокихъ темныхъ водахъ все словно онѣмѣло.

Всѣ тамъ, въ морѣ, онѣмѣли, всѣ — и живые и мертвые.

Анна-Лизбета подвигалась дальше.

Она, что называется, «ни о чемъ не думала». Она будто ушла отъ своихъ мыслей.

Но мысли не ушли отъ нея. Онѣ никогда отъ насъ не уходятъ, онѣ только такъ, дремлютъ.

Дремлютъ и тѣ, что поднялись, работали и опять улеглись, и тѣ, которые еще не трогались.

Но эти мысли въ свое время выплываютъ паружу. Онѣ шевелятся у насъ то въ сердцѣ, то въ головѣ.

Да, шевелятся, какъ ихъ не усмиряй.

Сказано и въ священномъ писаніи, и такъ люди говорятъ: «Доброе дѣло несетъ благословеніе за собой, а злое дѣло несетъ горе и мученіе».

По этому поводу много было говорено, много было писано, но вѣдь этого не помнимъ мы, забываемъ...

Такъ случилось съ Анной-Лизбетой.

Но можетъ вѣдь просвѣтлѣть въ головѣ, можетъ и забытое припомниться.

Всѣ наши пороки и всѣ наши добродѣтели лежать въ насъ вмѣстѣ, крошечными незамѣтными сѣмечками,

но вотъ блеснулъ солнечный лучъ, вотъ дотронулась недобрая рука, — ты огибаешь уголь, поворачиваешь направо или налево.

Да, это можетъ сдѣлаться рѣшительной минутой. Маленькое сѣмечко затронуто, разбухаетъ, лопается и разливаетъ соки свои во всю твою кровь, — и вотъ ты уже на пути...

Есть премучительныя мысли! Когда идешь словно въ дремотѣ, ихъ какъ будто нѣтъ, онѣ словно задремали тоже...

Да, задремали, но онѣ тутъ, онѣ бродятъ въ сердцѣ.

Анна-Лизбета шла вотъ именно въ такомъ полусонномъ состояніи, а мысли бродили у нея, мысли были при ней.

У сердца свои счеты, оно многое, многое записываетъ, и что ни годъ, то подводитъ итоги.

Многое забывается — и грѣхи на словахъ и грѣхи на дѣлѣ, грѣхи противъ ближняго, грѣхи противъ самихъ себя.

Мы объ этихъ грѣхахъ не думаемъ, и Анна-Лизбета тоже не думала.

Она не совершила никакого преступленія противъ общественнаго права и закона, ее очень уважали и она слыла достойной, почтенной женщиной, — она это знала.

Шла она такимъ образомъ по морскому берегу.

— Что бы это такое лежало тамъ? Что-то чернѣется!

Анна-Лизбета остановилась.

— Что такое принесли сюда волны?

То была старая мужская шляпа.

Гдѣ это она свалилась за бортъ?

— Анна-Лизбета подошла еще ближе и взглянула на шляпу.

— Ай! Что это такое? Что такое?

Анна-Лизбета вздрогнула отъ испуга.

Но ничего не было такого, чего можно бы было пугаться. Это былъ только тростникъ да морская трава.

Тростникъ и морская трава лежали на большомъ продолговатомъ камнѣ и похоже было, будто лежить человѣкъ.

Это были тростникъ и морская трава, но Анна-Лизбета все-таки перепугалась.

Потомъ она опять пошла дальше, но ей стали приходиться на умъ разныя преданія, которыя она слышала ребенкомъ, — преданія о привидѣнїяхъ на морскомъ берегу, о призракѣ утопленника, котораго не похоронили, — какъ онъ приплылъ къ пустынному берегу и лежалъ тамъ.

Мертвое тѣло никому вѣдь зла не дѣлаетъ, а между тѣмъ призракъ его такъ преслѣдуетъ одинокаго путника, такъ цѣпляется за него и такъ требуетъ, чтобы его отнесли на кладбище и похоронили.

«Прицѣпился! Прицѣпился!» кричить привидѣніе.

И вотъ въ ту минуту, какъ Анна-Лизбета потихоньку повторяла эти слова, ея давешній сонъ мгновенно словно всталъ передъ ея глазами, всталъ, какъ со-всѣмъ живой.

Все она снова увидала, какъ матери за нее цѣплялись и повторяли одно и то же самое слово, какъ міръ разрушился и провалился, рукавъ у нея на рубашкѣ разорвался, и она выпала изъ рукъ своего ребенка, который хотѣлъ ее поддержать въ страшный часъ.

Ея дитя, ея собственное дитя, котораго она никогда-никогда не любила, про котораго она никогда-никогда

не думала,—это дитя теперь лежало на днѣ морскомъ, это дитя могло вынырнуть изъ волнъ и закричать ей:
— Прицѣпился! прицѣпился!

И когда она это подумала, мурашки забѣгали у нея по ногамъ. Она пошла быстрѣе, но на сердце ей точно налегала какая-то холодная, влажная рука, — налегала такъ, что она чуть-чуть не упала въ обморокъ.

А какъ взглянула она на море!

Море становилось все темнѣй да темнѣй, тяжелый туманъ стлался на него, ложился на прибрежныя деревья и кустарники, словно давилъ ихъ и придавалъ имъ странныя и страшныя формы.

Она обернулась назадъ, чтобы взглянуть на мѣсяць. Мѣсяць былъ словно блѣдный кругъ безъ лучей. Она чувствовала, какъ будто что-то тяжелое налегло на всѣ ея члены.

«Прицѣпился! прицѣпился!» подумала она.

Она опять обернулась, опять глянула на мѣсяць и ей показалось, что блѣдный ликъ его стоитъ совсѣмъ близко отъ нея, а туманъ виситъ у нея за плечами, словно одежда.

— Прицѣпился! прицѣпился! — раздавалось у нея въ ушахъ, и раздавалось такъ глухо, такъ чудно!

Звукъ этотъ шелъ не отъ лягушекъ, не отъ воровъ, ихъ было не видно.

— Могилу! Вырой мнѣ могилу!—громко прозвучало надъ нею.

Да, это былъ призракъ ея мальчика, который лежитъ на днѣ морскомъ и не успокоится до тѣхъ поръ, пока его не отнесутъ на кладбище и не похоронять.

Она хотѣла пойти на кладбище, хотѣла вырыть тамъ могилу.

И вотъ она пошла туда, гдѣ стояла церковь, и тутъ ей почудилось, что какъ будто ей стало легче, потомъ ей стало еще легче, потомъ стало совсѣмъ легко.

Тогда она захотѣла воротиться назадъ и попасть по кратчайшей дорогѣ домой, но ее опять что-то схватило.

— Прицѣпился! прицѣпился! — раздалось словно кваканье лягушекъ, словно карканье ворона. Совершенно яственно звучали слова:

— Могила! Вырой мнѣ могилу!

Туманъ былъ такой влажный и холодный, лицо и руки у нея были тоже такія влажныя и такія холодныя. Что-то страшно гнетущее налегло на ея тѣло. У нея вдругъ зародились такія мысли, которыя прежде никогда къ ней не приходили.

На сѣверѣ буковые лѣса часто распускаются за одну весеннюю ночь, а днемъ, при солнечномъ сіяніи, уже стоятъ во всей красѣ своей молодой, свѣжей, блестящей зелени.

Въ одно мгновенье можетъ распуститься въ нашей душѣ сѣмя грѣха, заброшенное въ нее нашей прошлой жизнью, словомъ, дѣломъ, или помышленіемъ.

Сѣмя всходитъ и распускается, да! И тогда ужъ нѣтъ ничего, что бы насъ оправдывало: дѣло налицо и свидѣтельствуетъ противъ насъ, мысли обращаются въ слова, а слова громко раздаются по цѣлому свѣту.

И мы приходимъ тогда въ ужасъ отъ того, что мы въ себѣ носили, лелѣяли и не подавили, отъ того, что мы сами въ себѣ, въ своемъ высокомеріи и безуміи растили.

У Анны-Лизбеты мысли неслись одна за другой; онѣ одолѣли ее до того, что она, наконецъ, упала, не смогла идти и начала ползти по землѣ.

— Могилу! Вырой мнѣ могилу! — раздалось снова.

Ей бы больше всего хотѣлось теперь вырыть могилу для себя самой, коли въ могилѣ только вѣчно забвеніе всѣхъ дѣлъ и мукъ.

То былъ часъ ея пробужденія, — пробужденія въ слезахъ и ужасѣ.

Ее бросало то въ жаръ, то въ холодъ, ее била лихорадка.

Многое, о чемъ она даже и слышать не могла прежде, теперь пришло ей на умъ.

Безмолвно, безшумно, точно тѣнь облаковъ, пронеслось передъ нею видѣніе. Она объ этомъ видѣніи слыхала еще прежде.

Какъ разъ мимо нея промчалась четверка фыркающихъ коней, изъ глазъ и ноздрей у нихъ вырывалось пламя, они мчали огненную карету, а въ каретѣ сидѣлъ безчеловѣчный помѣщикъ, который, лѣтъ сто тому назадъ, совершалъ тутъ свои мерзкія преступленія.

Разсказываютъ, что помѣщикъ этотъ всякую полночь ѣздитъ такимъ манеромъ въ свое бывшее помѣстье и сейчасъ же выѣзжаетъ оттуда обратно.

— Вотъ онъ! Вотъ онъ!

Онъ не былъ блѣденъ, какъ, говорятъ, всегда бываютъ мертвецы. Нѣтъ, онъ былъ черенъ, какъ уголь.

Онъ кивнулъ головой Аннѣ-Лизбетѣ.

— Прицѣпился! прицѣпился! Ты можешь опять прокатиться въ графскомъ экипажѣ и забыть своего ребенка.

Анна-Лизбета собрала всѣ свои послѣднія силы и побѣжала на кладбище, но черные могильные кресты заплясали, черные вороны закружились у нея передъ глазами, и она не могла отличать однихъ отъ другихъ.

Вороны каркали точно такъ же, какъ и тѣ, которые каркали днемъ, но теперь она понимала, что они каркали.

— Я мать ворона! Я мать ворона! — каркалъ каждый.



И Анна-Лизбета теперь уже знала, что это и ея имя, что и она, если только не выроетъ могилы, будетъ обращена въ такую же птицу и будетъ непрерывно кричать то же, что и они.

Она кинулась на землю и принялась руками рыть могилу въ твердой землѣ, и рыла такъ, что скоро ней брызнула изъ-подъ ногтей кровь.

— Могилу вырой мнѣ, могилу! — все раздавалось вокругъ.

И она страшно боялась, что вотъ-вотъ пропоетъ пѣтухъ и на востокъ покажется первая алая полоска зари, прежде чѣмъ она окончитъ работу, — тогда все пропало.

Пропѣлъ пѣтухъ, блеснуло на востокъ — могила была вырыта только наполовину.

Ледяная рука скользнула по ея головѣ, по ея лицу, до самаго сердца.

— Только полмогилы! — простонало что-то и унеслось на дно морское.

Да, это былъ призракъ мальчика.

Когда она пришла въ себя, уже разсвѣло. Два чело-вѣка ее подняли. Она лежала не на кладбищѣ, а на морскомъ берегу и тутъ-то она вырыла глубокую яму въ песокъ и до крови изрѣзала пальцы о разбитую рюмку, у которой ножка была вставлена въ маленькій деревянный обрубочекъ, окрашенный голубою краскою.

Анна-Лизбета воротилась на родину, но уже это была не прежняя Анна-Лизбета. Мысли у ней перепутались такъ, какъ путается пряжа.

Одна только мысль, что она должна отнести при-зракъ на кладбище и тамъ вырыть ему могилу, пред-ставлялась ей ясною.

Она часто начала пропадать изъ дому, и ее всегда находили на морскомъ берегу: она тамъ поджидала призракъ своего мальчика.

Такъ прошелъ годъ, и тутъ она вдругъ пропала опять и уже такъ пропала, что ее нигдѣ не могли найти, и

весь слѣдующій день тоже прошелъ въ бесполезныхъ поискахъ.

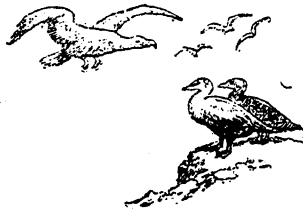
Только подъ вечеръ, когда церковный сторожъ собрался благовѣстить къ вечернѣ и вошелъ въ церковь, онъ увидалъ тамъ Анну-Лизбету.

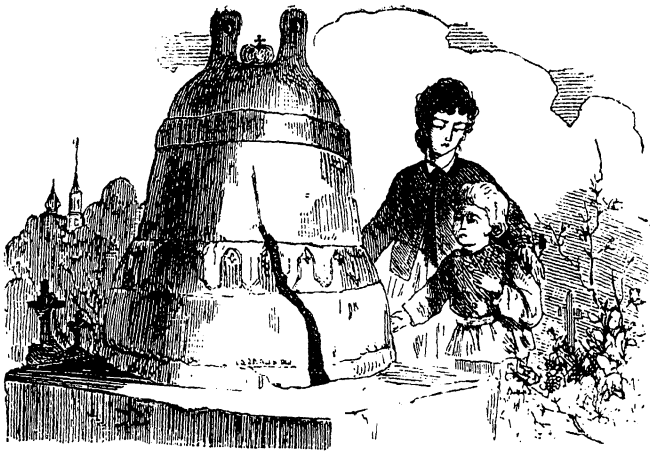
Она не трогалась съ мѣста. Она говорила, что ей тутъ хорошо. Она видѣла сонъ. Ей пригрезилось, будто ея мальчикъ пришелъ и сказалъ ей:

— Ты вырыла мнѣ только полмогилы, но ты цѣлый годъ хоронила меня въ своемъ сердцѣ, а въ материнскомъ сердцѣ самая лучшая могила.

Когда солнце закатилось, покончилисъ все мученія Анны-Лизбеты.

Она умерла.





Старый колоколь.



Въ нѣмецкой землѣ, въ Вюртембергѣ, тамъ, гдѣ растутъ вдоль большой дороги акаціи, гдѣ яблони и груши гнутся къ землѣ подъ тяжестью зрѣлыхъ плодовъ, лежитъ городокъ Марбахъ.

Марбахъ хотя и принадлежитъ къ числу маленькихъ городковъ, но онъ городокъ прелестный и пріютился на рѣкѣ Неккерѣ, которая бѣжитъ мимо деревень, мимо старыхъ рыцарскихъ замковъ и зеленыхъ виноградниковъ и сливаетъ свои воды съ гордымъ Рейномъ.

Была поздняя осень, виноградная зелень еще, правда, висѣла на лозахъ, но листья уже заалѣлись, и цѣлые потоки дождя падали на землю; холодный осенній вѣтеръ бушевалъ съ каждымъ днемъ сильнѣе.

Для бѣдныхъ это было не очень-то пріятное время.

Дни становились все короче да пасмурнѣе, а ужъ коли подъ открытымъ небомъ было темно, такъ вы мо-

жете себѣ представить, что въ маленькихъ домикахъ было несравненно темнѣе.

Одинъ такой домикъ стоялъ на улицѣ, домикъ съ низенькими окошечками, такой жалкій и убогий домикъ.

Бѣдна была и семья, что жила въ домикѣ, но она была добрая и трудолюбивая.

Скоро ожидали, что появится на бѣлый свѣтъ еще приращеніе къ семьѣ.

Пришла пора, и мать лежала въ мукахъ, когда вдругъ раздался глубокій праздничный благовѣсть и долетѣлъ до ея слуха.

Этотъ благовѣсть преисполнилъ сердце ея благоговѣніемъ, и тутъ она родила сына.

Она была полна безконечной радости, а колоколь своимъ звономъ словно рассказывалъ про ея радость городу и селамъ.

Два свѣтлые дѣтскіе глаза глядѣли на нее, а волосы ребенка блестѣли точно золотые.

Новорожденный былъ встрѣченъ на землѣ съ колокольнымъ звономъ въ пасмурный ноябрьскій день.

Мать и отецъ поцѣловали его и записали въ своей Библии:

«10 ноября 1759 г. далъ намъ Богъ сына».

Потомъ они еще къ этому прибавили, что сыну при крещеніи дано имя Іоаннъ-Христофъ-Фридрихъ.

Что же вышло изъ ребенка? Что вышло изъ бѣднаго мальчика, родомъ изъ маленькаго, ничтожнаго городка Марбаха?

Да, тогда этого никто не зналъ, никто, даже старый колоколь, какъ онъ ни высоко висѣлъ, и хотя онъ первый прогудѣлъ о рожденіи того, кто впослѣдствіи долженъ былъ пропѣть такую чудную пѣснь о колоколѣ.

Сталъ мальчикъ подрастать, а съ нимъ тоже и мiръ. Родители мальчика перебрались въ другой городъ, но добрые друзья остались у нихъ въ Марбахѣ, и потому мать съ сыномъ собрались въ одинъ прекрасный день и поѣхали въ гости въ Марбахъ.

Мальчику было всего только шесть лѣтъ, однако онъ ужъ зналъ кое-что изъ Библии и священныхъ псалмовъ, онъ ужъ иногда вечерами слушалъ, сидя въ своемъ маленькомъ тростниковомъ креслицѣ, какъ отецъ читалъ вслухъ сказки Геллерта или поэму Клопштока, Мессиаду.

Тогда мальчикъ вмѣстѣ съ своей сестрой, которая была старше его двумя годами, оба плакали горячими слезами о Томъ, Кто за всѣхъ насъ умеръ на крестѣ.

Въ этотъ первый приѣздъ матери съ сыномъ въ городокъ, Марбахъ мало въ чемъ измѣнился. Дома тамъ стояли попрежнему; тѣ же были острия кровли, выдающіяся стѣны, тѣ же неровные этажи уступами, тѣ же низенькія окошки.

Только на кладбищѣ прибавились новыя могилы, и тамъ, въ травѣ, у самой стѣны, стоялъ теперь старый колоколь; онъ упалъ съ своей высоты, треснулъ и ужъ не могъ больше звонить. На мѣстѣ его повѣсили новый колоколь.

Мать съ сыномъ вошла на кладбище и остановилась около стараго колокола, и мать стала рассказывать своему мальчику, какъ этотъ самый колоколь звонилъ въ теченіе многихъ столѣтій при крестинахъ, при свадьбахъ и при похоронахъ, какъ онъ рассказывалъ про всѣ радости и праздники, про всѣ пожары, про всѣ ужасы, — однимъ словомъ, про всю человѣческую жизнь.

И мальчикъ никогда не забылъ того, что рассказала ему мать; все это звучало и пѣло и раздавалось у него

въ груди до тѣхъ поръ, пока онъ сталъ взрослымъ человекомъ и излилъ все это въ пѣснѣ.

Мать рассказала ему и то, какъ заблаговѣстилъ старый колоколь въ ту самую минуту, когда родился онъ, ея мальчишечка.

Мальчикъ чуть не съ благоговѣніемъ смотрѣлъ на старый колоколь. Онъ наклонился и поцѣловалъ его, — да, поцѣловалъ, какъ этотъ колоколь ни былъ старъ, расколотъ и заброшенъ въ травѣ и кропивѣ.

Хорошая память осталась объ этомъ старомъ колоколѣ у мальчика, а росъ мальчикъ въ бѣдности, изъ себя былъ блѣдный, худой, съ рыжеватыми волосами и весь въ веснушкахъ.

Да, таковъ онъ былъ, но при этомъ глаза у него сіяли ясные и глубокіе, такіе ясные и глубокіе, какъ самая глубокая чистая вода.

Хорошо ли ему жилось?

Очень хорошо. Завидно, какъ хорошо.

Его приняли съ величайшей милостью въ военную школу, да еще въ то отдѣленіе, куда поступаютъ только сыновья знатныхъ господъ, а вѣдь это великая честь, — не только одна честь, а и счастье.

Онъ носилъ штилеты, тугой стоячій галстукъ и напудренный парикъ.

И наукамъ его разнымъ учили, да еще подъ команду.

— Маршъ! Стой! Равняйся! Во фронтъ!

Ужъ изъ этого, навѣрное, должно было что-нибудь выйти!

Между тѣмъ старый колоколь стоялъ почти совсѣмъ позабытый, но заранѣе можно было предвидѣть, что рано ли, поздно ли, а уже не миновать ему плавильной печи, а тогда что изъ него выйдетъ?

Этого-то уже предсказать было невозможно, и точно такъ же невозможно было предсказать тогда и того, что прозвучить въ молодой груди мальчика изъ Марбаха.

Колоколъ былъ вылить изъ звонкой мѣди и звонилъ такъ, что далеко-далеко по свѣту долженъ былъ разноситься его звукъ.

И чѣмъ тѣснѣе было въ школьныхъ стѣнахъ, тѣмъ тамъ оглушительнѣе раздавалось: «Маршъ! Стой! Равняйся! Во фронтъ!» тѣмъ громче звучало въ груди у юноши, и пѣль онъ объ этомъ въ кругу своихъ товарищей, и звонъ его пѣсни проносился далеко за предѣлы страны.

Но не для пѣнья его помѣстили на казенный счетъ въ военную школу, дали ему казенную одежду и пищу.

Онъ и здѣсь, однако, получилъ номеръ на тотъ винтикъ, какимъ суждено было быть въ великомъ механизмѣ, куда мы всѣ приняты ради общей пользы.

Мы сами себя мало — какъ мало понимаемъ! Какъ же могутъ понимать насъ другіе, даже самые лучшіе другіе?

Но подъ вліяніемъ давленія именно и образуется благородный камень.

Здѣсь было давленіе, давленіе настоящее, но узнаегъ ли когда-нибудь свѣтъ благородный камень?

Въ столицѣ былъ большой праздникъ у герцога. Тамъ сіяли тысячи лампъ, свѣчей, тамъ ракеты, рассыпаясь и брызгая огнемъ, взвивались къ небу.

Еще и до сей поры великолѣпіе это памятно людямъ и именно благодаря ему, казенно-коштному воспитаннику военной школы.

А что онъ? Онъ тогда, въ горѣ и въ слезахъ, никѣмъ не замѣченный, попытался было уйти въ чужую землю.

Онъ долженъ былъ оставить родину, покинуть мать, всёхъ своихъ милыхъ.

Да, все это оставить, покинуть или погибнуть въ общемъ потокѣ, — въ потокѣ обыденныхъ мелочей.

А старый колоколь? Тому хорошо было. Онъ стоялъ подъ защитой церковной стѣны въ Марбахѣ и о немъ почти забыли. Надъ нимъ бушевалъ вѣтеръ и могъ бы ужъ рассказать про того, при чьемъ рожденнн загудѣлъ колоколь, могъ бы рассказать, какимъ холодомъ онъ дулъ на него въ лѣсу сосѣдней земли, гдѣ онъ, измученный, изнуренный усталостью, упалъ со всёмъ своимъ богатствомъ, со всей своей надеждой на будущее.

Одними только написанными листками, — листками «Фіэско» — вѣтеръ могъ бы рассказать про его единственныхъ доброжелателей и покровителей, художниковъ, которые при чтенн этихъ листовъ стали уходить потихоньку прочъ и принимались забавляться въ кегли.

Да, вѣтеръ могъ бы рассказать про бѣднаго бѣглеца, который цѣлыя недѣли и цѣлые мѣсяцы прожилъ въ жаркомъ трактирѣ, гдѣ хозяинъ ругался и неистовствовалъ, гдѣ шло дикое веселье въ то самое время, когда онъ пѣлъ объ идеалѣ.

Тяжелые дни! Мрачные, неприглядные дни! Сердце поэта должно перенести, должно выстрадать все, что поэтъ хочетъ высказать.

Мрачные, неприглядные дни проходили тоже и надъ старымъ колоколомъ.

Старый колоколь ихъ не чувствовалъ, но колоколь въ человѣческой груди дѣло другое: тотъ чувствуетъ все.

Что случилось съ молодымъ человѣкомъ?

Что случилось съ старымъ колоколомъ?

Старый колоколь отправили далеко, — дальше, чѣмъ когда-либо бывало слышно съ его высокой колокольни.

А молодой человѣкъ?

Да, колоколь въ его груди уже раздавался дальше, чѣмъ когда-либо должна была ступить его нога или заглянуть его глазъ, — онъ раздавался, и теперь еще раздается, надъ всѣмъ океаномъ, надъ всѣмъ земнымъ шаромъ, онъ раздавался всюду.

Но сначала, позвольте, мы остановимся на колоколѣ.

Колоколь тоже уѣхалъ изъ Марбаха. Его продали, какъ старую мѣдь, — на переливку продали въ Баварію.

Когда и какъ это случилось?

Много лѣтъ спустя послѣ того, какъ колоколь упалъ съ своей колокольни, рѣшено было его расплавить на памятникъ, на одну изъ величественнѣйшихъ фигуръ нѣмецкаго народа и нѣмецкой земли.

Какъ удивительно и чудно идетъ все на свѣтѣ!

Въ Даніи, на одномъ зеленомъ островѣ, гдѣ шумятъ буковые свѣжіе лѣса и возвышаются гунскіе курганы, родился тоже бѣдный мальчикъ.

Этотъ мальчикъ ходилъ въ деревянныхъ башмакахъ, лпняломъ платишкѣ и носилъ своему отцу, рѣзчику на корабельной верфи обѣдъ.

И этотъ бѣдный мальчикъ тоже сдѣлался гордостью своей страны.

Онъ умѣлъ ваять изъ мрамора великолѣпія, изумлявшія собою весь міръ.

И поэтому-то дали ему почетное порученіе вылѣпить изъ глины образъ величія и красоты, чтобы вылить изъ мѣди статую того, чье имя записано въ Библии такъ :

Іоганнъ-Христофъ-Фридрихъ.

Мѣдь раскаленной струей полилась въ форму! Старый колоколь, о которомъ ужъ никто больше и не ду-

малъ, тоже полился въ форму, и изъ него вышла грудь и голова статуи.

Статуя эта теперь стоитъ въ Штутгартѣ, передъ старымъ замкомъ, на площади, по которой нѣкогда ходилъ тотъ, кого онъ теперь изображаетъ, — ходилъ, томимый надеждами и сомнѣніями, терзаемый гнетомъ окружающаго.

Да, здѣсь ходилъ онъ, мальчикъ изъ Марбаха, казенно-коштный воспитанникъ военной школы, великій бѣглець, безсмертный германскій поэтъ, воспѣвшій освободителя Швейцаріи и Ормеанскую дѣвственницу.

Быль чудеснѣйшій, солнечный день; на башняхъ и крышахъ Штутгарта, развѣвались флаги, возвѣщая праздникъ и радость; гудѣли колокола.

Одинъ только колоколь молчалъ, но зато этотъ колоколь горѣлъ на яркомъ солнцѣ, сіялъ на груди и головѣ статуи славы.

Въ этотъ день минуло ровно сто лѣтъ съ того дня, когда колоколь прогудѣлъ съ марбахской колокольни, на радость и утѣшеніе страждущей матери, въ минуту рожденія въ бѣдномъ домикѣ бѣднаго мальчика, — въ послѣдствіи богача, чьи сокровища благословляетъ цѣлый міръ, — въ минуту рожденія поэта женскаго сердца, пѣвца всего прекраснаго и великаго, Иоганна-Христофа-Фридриха Шиллера.



Л с и х е я .

На утренней зарѣ, въ пурпуровомъ воздухѣ горитъ большая звѣзда. Это самая яркая утренняя звѣзда; ея лучи дрожатъ на бѣлой стѣнѣ, словно она хочетъ начертать все, что въ теченіе цѣлыхъ тысячелѣтій она видѣла въ разныхъ уголкахъ нашей вертящейся земли.

Послушаемъ ея разсказовъ.

Недавно — это недавнее золотой звѣзды для насъ, людей, значить цѣлыя столѣтія, — недавно лучи ея освѣщали молодого художника.

Это было въ папскомъ городѣ Римѣ.

Многое, очень многое въ Римѣ перемѣнилось съ теченіемъ времени, но все-таки перемѣнилось не такъ скоро, какъ человѣкъ изъ младенца дѣлается старцемъ.

Въ то время городъ императоровъ былъ, какъ и теперь, въ развалинахъ; между свалившимся разбитыми мраморными колоннами росли финиковыя и лавровыя деревья надъ разрушенными древними банями, гдѣ еще блестяла по стѣнамъ позолота. Колизей разваливался, гудѣли церковныя колокола, разносился запахъ ладана, по улицамъ шествовали процессіи съ пылающими свѣчами и яркими балдахинами.

Въ Римѣ жилъ величайшій художникъ въ мірѣ, Рафаэль; тутъ же жилъ и первый ваятель своего вѣка, Микель Анджело.

Даже его святѣйшество, самъ папа уважалъ ихъ обоихъ и удостоилъ ихъ своимъ посѣщеніемъ.

Изящныя искусства тогда цѣнились, уважались и вознаграждались.

Но, невзирая на это, все-таки не все замѣчательное и великое видѣли и знали.

Въ узенькой улицѣ стоялъ старый домъ; этотъ домъ когда-то былъ храмомъ. Тутъ теперь жилъ молодой художникъ, бѣдный и неизвѣстный; у него, разумѣется, водились пріятели, такіе же художники, какъ и онъ, юные духомъ, надеждами и мечтами. Они увѣряли его, что онъ богатъ талантомъ и вообще малый способный, не дуракъ, потому что самъ не вѣритъ тому, что признаютъ другіе: зачѣмъ онъ разбиваетъ все, что ни вылѣпить изъ глины, зачѣмъ онъ никогда не доволенъ своей работой? Зачѣмъ никогда ничего не доводитъ до конца? Вѣдь надо же окончить работу для того, чтобы ее можно было оцѣнить и дать за нее денегъ!

— Ты мечтатель!—говорили приятели,—и въ этомъ вся твоя бѣда! А происходитъ это отъ того, что ты еще не жилъ, еще не отвѣдалъ жизни, какова она, еще не наслаждался ею, какъ слѣдуетъ, то-есть вполне. А коли въ молодости ты не насладишься, такъ когда же? Посмотри-ка ты на великаго мастера нашего, Рафаэля, котораго папа почитаетъ, которому весь міръ удивляется: онъ земныхъ благъ не презираетъ!

— Нѣтъ, онъ не презираетъ!—сказалъ Анджели, самый развеселый малый изъ всей компаніи.—Онъ когда-нибудь просто-напросто проглотитъ хорошенькую булочницу Форнарину!

И многое такое они говорили, и имъ хотѣлось тянуть его въ свою веселую, бѣшеную, сумасшедшую жизнь.

Иной разъ его и самого въ нее тянуло: у него была вѣдь горячая кровь и сильная фантазія; онъ вѣдь тоже могъ бы принять участіе въ веселой болтовнѣ и охотно бы посмѣялся вмѣстѣ съ другими.

А все-таки когда онъ стоялъ въ Ватиканѣ передъ образами красоты, что за тысячи вѣковъ создали изъ куска мрамора великіе художники, то, что называли «веселой жизнью Рафаэля», исчезало для него, грудь поднималась, всего его охватывало какое-то особое чувство,—чувство святое, возвышающее,—у него точно крылья вырастали, и хотѣлось ему самому создать, изваять изъ мрамора такіе образы.

Ему хотѣлось воплотить то, что жило у него въ сердцѣ и рвалось оттуда неудержимо.

Какъ? Въ какихъ формахъ?

Мягкая глина складывалась подъ его пальцами въ формы красоты, но черезъ нѣсколько дней онъ уничтожалъ всегда то, что самъ создалъ.

Разъ онъ проходилъ мимо одного богатаго палаццо, какихъ много въ Римѣ, и остановился передъ большими, настезь распахнутыми, въѣздными воротами.

Онъ увидалъ во дворѣ аркады, украшенныя живописью, — аркады эти окружали цвѣтущій садъ; въ саду цвѣло множество пышныхъ розъ, большія бѣлыя калваи съ зелеными сочными листьями поднимались изъ мраморнаго бассейна, гдѣ плескала чистая, прозрачная вода.

И вотъ тутъ передъ нимъ пронесся образъ — образъ молодой дѣвушки.

Передъ нимъ промелькнула дочь этого княжескаго дома — стройная, легкая, дивно-прекрасная.

Такой женщины онъ еще не видывалъ.

Нѣтъ, видѣлъ! Ее изобразилъ Рафаэль въ образѣ Психеи въ одномъ римскомъ дворцѣ.

Но тамъ она была написана красками, а здѣсь прошла живая.

Она поселилась съ этого дня въ его сердцѣ и въ его мысляхъ.

И онъ пошелъ въ свою убогую комнатку, и вылѣпилъ изъ глины Психею, и въ первый разъ въ жизни посмотрѣлъ на свою работу довольными глазами.

Эта работа изображала ее.

Увидали эту работу пріятели и пришли въ восторгъ.

— Это произведеніе, — говорили они, — выказываетъ, каковъ у тебя талантъ. Мы твой талантъ давно признали, а теперь признаетъ его и свѣтъ!

Въ глинѣ, правда, много тѣлесности и жизни, но глина не имѣетъ бѣлизны и долговѣчности мрамора.

Эта Психея должна жить въ мраморѣ.

У него былъ кусокъ мрамора на примѣтѣ; этотъ кусокъ принадлежалъ его родителямъ и много уже лѣтъ

лежалъ во дворѣ; разные осколки, обломки, огрызки овощей, остатки отъ артишоковъ кучей на немъ были навалены и пачкали его, но внутри-то мраморная глыба все-таки была бѣла, какъ горный снѣгъ.

Изъ этого мрамора должна была родиться Пенхея.

Разъ случилось — яркая звѣзда, правда, ничего объ этомъ не рассказывала, но мы это знаемъ, — случилось, что знатное римское общество приѣхало въ убогенькую, узенькую улицу. Великолѣпный экипажъ остановился у вѣзда въ улицу, общество вышло изъ него и отправилось пѣшкомъ посмотрѣть работу молодого художника, — оно какъ-то случайно о ней прослышало.

Кто же такіе были эти знатные гости?

Бѣдный молодой человѣкъ! (Его, впрочемъ, можно назвать и счастливымъ молодымъ человѣкомъ.) Сама прекрасная аристократка стояла у него въ комнатѣ и съ какой еще улыбкой на прелестныхъ устахъ!

— Да вѣдь это ты! Это вылитая ты!

Когда ея отецъ сказалъ эти слова, у нея была такая улыбка, которой никакими словами не передать.

И взглядъ у нея еще былъ тоже такой, какого никакими словами не передать. Чудный взглядъ! Онъ и возвышалъ и уничтожалъ.

— Эту Пенхею надо изваять изъ мрамора! — сказалъ вельможа.

Слова эти были словами жизни и для мертвой глины, и для тяжелой глыбы мрамора, и для трепещущаго отъ волненія художника.

— Когда работа будетъ окончена, — сказалъ князь, — я ее куплю.

Съ этого дня въ убогую мастерскую влилась новая жизнь, тамъ засіяла радость, закипѣла прилежная, страстная работа.

Золотая утренняя звѣзда видѣла, какъ быстро двигалась эта работа. Сама глина, и та словно ожила съ тѣхъ поръ, какъ попала сюда: она ложилась такъ мягко въ знакомыя черты, линіями такой возвышенной красоты!

— Теперь я живу!—воскликнулъ въ восторгѣ молодой художникъ.—Теперь я знаю, что такое жизнь! Жизнь—это любовь! То, что мои пріятели называютъ жизнью и наслажденіемъ, быстро проходить, — это пузыри на водѣ, а не чистый нектаръ!

Очистили глыбу мрамора, рѣзецъ откололъ отъ него большіе куски; потомъ этотъ мраморъ размѣрили, поставили на немъ пункты и значки, справили всю ремесленную работу.

И вотъ камень началъ мало-по-малу превращаться въ тѣло, въ образъ красоты, въ прекрасную, чудную Психею.

Да, тяжелый камень превратился во что-то воздушное, легкое, парящее.

Яркая звѣзда розоваго утра видѣла и понимала, что волновало такъ глубоко молодого художника, отчего происходили и блѣдность и румянецъ его щекъ, отчего молнія сверкала въ его глазахъ, когда онъ воспроизводилъ плѣнительный образъ.

— Ты не уступишь художникамъ древней Греціи!—говорили восхищенные друзья.—Скоро весь свѣтъ будетъ удивляться и поклоняться твоей Психеѣ!

— *Моей* Психеѣ!—повторялъ онъ.—*Моей!* Да, она должна быть *моей!* Да, должна! И я такой же художникъ, какъ тѣ, древніе великіе художники! Да, я не уступаю имъ, я свѣше одаренъ великими дарами творчества.

И онъ кидался на колѣни, рыдалъ и благодарилъ судьбу, и потомъ опять все на свѣтѣ забывалъ, кромѣ ея, ожившей въ мраморѣ, кромѣ прелестной Психеи, которая стояла, точно изъ снѣга, и краснѣла подь лучами утренняго солнца.

Онъ теперь могъ видѣть ее и живую, ее, чьи слова были для него волшебной музыкой. Онъ могъ пойти въ роскошный княжескій дворецъ и сказать, что мраморная Психея окончена.

Онъ туда и отправился.

Онъ прошелъ великолѣпный дворъ, гдѣ изъ пасти дельфиновъ плескалась вода въ мраморные бассейны, гдѣ цвѣли калваи и свѣжія розы.

Онъ вошелъ въ переднюю, въ высокую залу, гдѣ на стѣнахъ и на потолкѣ нарисованы разноцвѣтные гербы.

Нарядные слуги, жеманные, высокообранные, увѣшанные погремушками, какъ лошади, ходили взадъ и впередъ, вверхъ и внизъ по лѣстницѣ, а иные важно развалились на разныхъ деревянныхъ скамьяхъ, точно они здѣсь сами хозяева.

Молодой художникъ объяснилъ этимъ слугамъ, за чѣмъ онъ пришелъ въ княжескій дворецъ, и его повели по бѣлой мраморной лѣстницѣ, устланной мягкими коврами.

По обѣимъ сторонамъ этой лѣстницы стояли статуи.

Онъ проходилъ черезъ богато убранные покои съ дорогими картинами и съ мозаичными полами.

Ему стало трудно дышать отъ всего этого великолѣпія и блеска.

Но скоро опять стало легко: старый князь принялъ его очень милостиво, очень привѣтливо, почти дружески.

Когда онъ прощался, его попросили пройти къ синьорѣ, — она тоже желала его видѣть.



Слуга повелъ его черезъ рядъ великолѣпныхъ залъ къ ней, въ ея покои.

Она заговорила съ нимъ. Никакое пѣнье, никакая музыка не могли такъ взволновать душу, какъ ея рѣчь.

Онъ схватилъ ея руку, прижалъ эту руку къ своимъ пылающимъ губамъ.

Нѣтъ на свѣтѣ розы нѣжнѣе этой руки, — но изъ этой розы исходилъ огонь, — и какой огонь!

Его охватило какое-то, дотолѣ невѣдомое, чувство! Слова лились — онъ самъ не зналъ, что онъ говорилъ.

Развѣ кратеръ знаетъ, что онъ выбрасываетъ расплавленную лаву!

Онъ признался ей въ своей любви. Она остановилась; пораженная этимъ признаніемъ, оскорбленная имъ.

Какая гордость была на ея лицѣ, какая презрительная насмѣшка.

Она отшатнулась отъ него съ такимъ выраженіемъ, точно вдругъ дотронулась до холодной лягушки: щеки ея запылали, губы побѣлѣли, глаза стали огненные.

Огненные и все-таки черные, какъ ночь.

— Сумасшедшій! — сказала она. — Безумный! Вонъ! Вонъ отсюда!

И повернулась къ нему спиной. На прекрасномъ лицѣ было въ ту минуту то выраженіе, какое вы видите на окаменѣломъ лицѣ съ змѣями въ волосахъ.

Онъ спустился съ великолѣпной княжеской лѣстницы, точно неодушевленный предметъ, шатаясь, вышелъ на улицу, и, какъ пьяный, добрелъ до дому.

Тутъ только онъ нѣсколько опомнился, въ бѣшенствѣ и горѣ схватилъ молотъ, замахнулся высоко и хотѣлъ раздробить прекрасную мраморную Психею.

Но въ своемъ изступленіи онъ не замѣтилъ, что подлѣ него стоитъ его пріятель Анджело.

Анджело успѣлъ поймать его за руку и остановилъ его.

— Ты рехнулся? Что ты дѣлаешь!

Они стали бороться.

Анджело былъ сильнѣе, и молодой художникъ, выбившись изъ силъ, съ глубокимъ вздохомъ упалъ на стулъ.

— Что такое съ тобой?—спрашивалъ Анджело.— Что такое случилось? Говори! Да опомнись, Христа ради! Говори, что такое случилось?

Но что же могъ онъ говорить? Что могъ сказать?

Анджело долго добивался, но ничего добиться не могъ и, наконецъ, отступился.

— Ты доживешь до бѣды съ своими мечтаньями!—сказалъ онъ.— Да будь же ты, наконецъ, человѣкомъ, какъ мы всѣ, не заносись въ облака, не ищи идеаловъ, вѣдь отъ этого люди шалѣютъ! Отъ этого недолго и съ ума спятить! Возьми-ка ты себѣ хорошенькую дѣвушку въ лѣкаря,—она тебя вылѣчитъ! Дѣвушка изъ Кампаньи такъ же хороша, какъ и принцесса въ мраморномъ дворцѣ, повѣрь мнѣ. Обѣ онѣ Евины дочери и на томъ свѣтѣ ихъ не отличишь другъ отъ друга. Послушай-ка ты своего пріятеля Анджело. Я твой ангелъ,—ей Богу, я твой ангелъ,—ангелъ жизни. Придетъ время, когда ты состаришься, когда тѣло у тебя сморщится и опустится, и вотъ тогда-то, въ одинъ прекрасный, солнечный, благодатный день, когда все будетъ радоваться и ликовать, ты будешь лежать какъ увядшій стебель, который ужъ не растеть, а сохнетъ! А теперь пока живи! Я не вѣрю ничему, что попы рассказываютъ про какую-то загробную жизнь: это красивая фантазія, сказка для дѣтей, и сказка очень милая для тѣхъ, кто можетъ все это себѣ представить. Но я живу не въ фантазіяхъ, а въ дѣйствительности! Пойдемъ со мной! Пойдемъ! Будь человѣкомъ.

И Анджели потащилъ его за собой.

Въ ту минуту это было очень легко: въ крови молодого художника горѣлъ пожирающій огонь, въ немъ совершился какой-то переворотъ, онъ чувствовалъ потребность оторваться отъ всего привычнаго, потребность освободиться отъ своего прежняго я.

И вотъ онъ пошелъ съ Анджемо.

Въ отдаленномъ уголкѣ вѣчнаго города стояла остерія, построенная изъ развалинъ древнихъ бань. Эту остерію посѣщали художники.

Въ гуцинѣ темной, блестящей зелени висѣли большіе желтые лимоны и закрывали часть старыхъ, красно-желтыхъ стѣнъ. Остерія помѣщалась, точно пещера, подъ глубокими сводами развалинъ. Внутри, передъ образомъ Мадонны горѣла лампада; большой огонь ясно пылалъ на очагѣ,—тутъ пекли, жарили, варили; снаружи, подъ лимонными и лавровыми деревьями, стояли накрытые столы.

Они были встрѣчены радостными криками.

Ѣли мало, пили много, и это еще больше веселило.

Пѣли пѣсни, играли на гитарѣ. Затѣмъ раздалась сальтарелла, и начался бѣшеный танецъ.

Двѣ молодыя римлянки, натурщицы молодыхъ художниковъ, участвовали тоже въ танцахъ.

То были двѣ прелестнѣйшія вакханки!

Конечно, то были не Психей, не нѣжныя, прелестныя розы, но свѣжія, здоровыя, пламенныя гвоздики.

Какъ было въ этотъ день жарко!

Даже послѣ заката солнца и то было жарко.

Огонь въ крови, огонь въ воздухѣ, огонь въ каждомъ взглядѣ!

Воздухъ сверкалъ золотомъ и розами, жизнь была золото и розы.

— Ну, наконецъ-то! Наконецъ-то ты развернулся! — говорили пріятели. — Отдайся только потоку, и все пойдетъ отлично!

— Отроду я еще не былъ такъ здоровъ и веселъ! — говорилъ молодой художникъ. — Ты правъ, и ты правъ, и ты... Всѣ вы правы! Я былъ дуракъ, мечтатель! Человѣкъ принадлежитъ дѣйствительности, а не фантазіи.

Съ пѣснями, съ бряцаньемъ гитары вышли молодые люди изъ остеріи. Вечеръ былъ звѣздный, свѣтлый. Они шли по узенькимъ улицамъ, и обѣ пламенные гвоздики, дочери Кампаньи, тоже шли вмѣстѣ съ ними.

Въ мастерской Анджело, посреди раскиданныхъ эскизовъ, пустыхъ флажекъ и картинъ съ огненными сюжетами, голоса нѣсколько постыкли, но всѣ были оживлены не меньше прежняго.

На полу валялись рисунки, довольно похожіе на дочери Кампаньи, съ измѣнчивой сильной красотой.

Рисунки были хороши, но сами онѣ все-таки были лучше.

Шестерная лампа горѣла и свѣтила всѣми своими рожками.

— Аполлонъ! Юпитеръ! Я поднялся въ ваше небо! Мнѣ кажется, что въ эту минуту въ моемъ сердцѣ распускается цвѣтъ жизни!

Да, цвѣтъ жизни распустился, надломился и упалъ.

И все кругомъ закружилось въ какомъ-то безобразномъ чаду, который ослѣплялъ глаза, мутилъ мысли.

Погасъ блестящій фейерверкъ, и сдѣлалась тьма.

Онъ опять очутился въ своей мастерской, сѣлъ на кровать и старался собраться съ мыслями.

— Фу! — вырвалось изъ его собственныхъ устъ. — О, несчастный! Прочь! Вонъ!

Изъ груди его вылетѣлъ глубокій, болѣзненный вздохъ.

«Вонь!» «Прочь!»

Это ея слова,— слова его живой Психеи! Они звучали у него въ ухахъ, они звучали у него въ сердцѣ.

Онъ уткнулъ голову подъ подушку, мысли у него совершенно спутались, и онъ заснулъ.

На разсвѣтѣ онъ пробудился и опять принялся приводить въ порядокъ свои мысли.

Что такое случилось?

Не во снѣ ли это все онъ видѣлъ?

Не пригрезилось ли ему, что она была у него въ мастерской, что онъ самъ былъ въ остеріи, видѣлъ вечеръ съ пурпуровыми гвоздиками Кампаньи?

Нѣтъ, это не пригрезилось, а въ дѣйствительности было.

Въ пурпуровомъ утреннемъ воздухѣ горѣла свѣтлая утренняя звѣзда, и лучи ея упали на него и на мраморную Психею.

Онъ задрожалъ, взглянувъ на этотъ образъ: ему показалось, что взглядъ его не чистъ, не достоинъ обращаться на олицетвореніе чистоты.

Онъ набросилъ на статую полотно.

Онъ хотѣлъ еще разъ взглянуть, дотронулся до мрамора, но не достало силъ снять покровъ, не хватило духу посмотреть на свое созданье.

Онъ просиживалъ цѣлые дни, погруженный въ самого себя, молчаливый, угрюмый, не видя, не слыша, что дѣлается вокругъ.

Никто не зналъ, что происходило у него въ душѣ.

Шли и проходили дни, недѣли, ночи тянулись длиннѣе всего. То были какія-то нескончаемыя ночи.

Золотая, сверкающая звѣзда видѣла, какъ разъ поутру онъ всталъ съ своей кровати, блѣдный, какъ смерть, съ лихорадочной дрожью, какъ подошелъ къ мраморной Пенхей, сбросилъ съ нея покровъ, посмотрѣлъ на нее долгимъ-долгимъ болѣзненнымъ взоромъ и потомъ потащилъ статую въ садъ, изнемогая подъ ея тяжестью.

Въ саду былъ старый высохшій колодець, который теперь былъ скорѣе похожъ на яму.

Въ эту яму онъ опустилъ свою Пенхей, забросалъ сверху землю и покрылъ это мѣсто прутьями и крупивой.

«Вонъ!» «Прочь!»

Только это онъ и произнесъ вмѣсто всякаго надгробнаго слова.

Свѣтлая звѣзда все это видѣла изъ ярко-розоваго воздуха, и ея лучъ задрожалъ тогда въ двухъ крупныхъ слезахъ, которыя катились по смертельно-блѣднымъ щекамъ молодого художника.

У молодого художника была горячка.

Все говорили, что онъ боленъ смертельно.

Во время этой долгой болѣзни къ нему приходилъ его другъ и врачъ, монахъ Игнатій, и приносилъ ему утѣшительныя слова религій. Онъ говорилъ о мѣрѣ, о людскихъ грѣхахъ, о милосердіи Божиемъ.

Слова эти падали, словно теплые лучи, на больного.

Передъ нимъ начинали носиться, словно облака, туманныя картины, и съ этихъ пловучихъ острововъ онъ смотрѣлъ на человѣческую жизнь.

Все ошибки, все заблужденія.

Онъ самъ испыталъ это.

Искусство — чародѣйка, которая искушаетъ насъ тщеславіемъ и земными успѣхами.

Мы ликуемъ сами съ собою, и съ пріятелями, и съ Богомъ.

Въ насъ вѣчно шипитъ змѣя:

— Вкуси — и ты станешь Богомъ!

Теперь только, казалось ему, онъ понялъ себя и нашелъ истинный путь къ правдѣ и миру.

Въ церкви — божественный свѣтъ и сіяніе, въ монашеской кельѣ — покой.

Братъ Игнатій укрѣпилъ его въ этомъ духѣ.

Онъ рѣшилъ, и рѣшеніе его было твердо.

Дитя свѣта сдѣлалось служителемъ Церкви. Молодой художникъ отрѣкся отъ міра и пошелъ въ монастырь.

Братья его встрѣтили съ любовью, и посвященіе его было торжественно какъ великій праздникъ.

Ему же казалось, что онъ видитъ самого Бога въ ослѣпительномъ сіяніи церкви на образахъ и на сверкающихъ крестахъ.

И когда потомъ ввечеру, при закатѣ солнца, онъ отворилъ окно своей тѣсной кельи и посмотрѣлъ на старыи Римъ, на разрушенные храмы, на громадный, но мертвый Колизей, — на все это, стоявшее и лежавшее въ весеннемъ благоухающемъ, свѣжемъ убранствѣ, когда онъ увидалъ цвѣтуція повсюду акаціи, розы, лимоны, померанцовыя деревья и вѣрообразныя пальмы, — онъ почувствовалъ себя глубоко взволнованнымъ, — взволнованныхъ такъ, какъ еще онъ отроду не бывалъ.

Открытая, безмолвная Кампанья далеко разстилалась туда, къ голубымъ горамъ, у которыхъ вершины были покрыты снѣгомъ и легко рисовались въ прозрачномъ воздухѣ.

Все это чудесно сливалось вмѣстѣ, все дышало спокойствіемъ и красотой, все это словно плыло, навѣвая какія-то мечты, похожія на грезы сна.

Да, здѣсь міръ точно представляется сномъ, а сонъ овладѣваетъ на цѣлые годы.

Но монастырская жизнь — это многолѣтняя жизнь, долгая жизнь.

Изъ человѣка исходитъ многое, что содѣлываетъ человѣка нечистымъ, — онъ теперь видѣлъ этому подтвержденіе.

Да, видѣлъ!

Какой огонь прожигалъ его насквозь иной разъ! Какой ужасный источникъ зла и скверны, вопреки его мольбамъ, все еще кипѣлъ въ немъ!

Онъ истязалъ жестоко свое тѣло, но зло шло изнутри.

За насъ молятся святые угодники, за насъ молится Пресвятая Дѣва! За насъ Христосъ пролилъ свою Божественную кровь! — утѣшалъ онъ себя.

Что жъ это, по юношескому легкомыслію онъ вообразилъ себѣ, что его осѣнила благодать, что онъ ею выше, вознесенъ надъ многими?

Вѣдь онъ отказался, отрекся отъ суеты мірской, онъ теперь сынъ святой Церкви!

Спустя нѣсколько лѣтъ, съ нимъ встрѣтился его старинный пріятель Анджели.

Анджели узналъ его.

— О, человѣче! — вскрикнулъ онъ. — Это ты? Что жъ, счастливъ ты теперь? А ты вѣдь согрѣшилъ передъ Богомъ, ты бросилъ даръ, которымъ онъ тебя наградилъ! Ты не исполнилъ своего назначенья въ этомъ мірѣ. Прочти-ка притчу о талантахъ! Вѣдь Учитель, сказавшій ее, сказалъ правду. Ты какъ думаешь, а? Ну, что жъ ты выигралъ? Что обрѣлъ? Ну, говори! Ты создалъ себѣ какую-то религію по своимъ понятіямъ. Всѣ вы, слуги папы, таковы; всѣ вы бѣжите отъ живой жизни.

— Отыди отъ меня, сатана! — сказалъ монахъ и оставилъ Анджело.

— Есть на свѣтѣ діаволь въ человѣческомъ образѣ, и нынче его встрѣтилъ! — говорилъ монахъ самъ съ собою. — Однажды я протянулъ ему палець, а онъ схватилъ всю мою руку! Нѣтъ! — вздыхалъ онъ. — Нѣтъ! Во мнѣ зло, во мнѣ самомъ! И въ этомъ человѣкѣ тоже есть зло, но оно не можетъ сломить его, какъ меня; онъ держитъ голову высоко, онъ наслаждается счастьемъ... А я ищу себѣ счастья въ утѣшеньяхъ религiи! О вѣчность! Ты подобна великому, безбрежному океану! Все обмань! «Вонъ!» «Прочь!»

И уже безъ рыданiй, безъ слезъ, погруженный въ самого себя, сидѣлъ онъ на жесткомъ монашескомъ ложѣ или преклонялъ колѣни на молитву.

Чѣмъ глубже вглядывался онъ въ самого себя, тѣмъ мысли его становились мрачнѣе.

— Жизнь растрочена! И куда? На что? Жизнь растрочена!

И эта мысль, словно свѣжнй комъ, каталась, росла, давила, уничтожала его.

— Некому довѣриться! Некому рассказать, что за червь гложетъ меня! Моя тайна — это мой плѣнникъ! Выпусти я его на волю, я буду въ его власти!

— О, Боже мой, Боже мой! — взывалъ онъ въ отчаянiи, — я забросилъ даръ, который былъ мнѣ Тобою ниспосланъ! Я не исполнилъ своего назначенiя на землѣ! Я зарылъ свой талантъ! У меня не хватило силы!

Яркая звѣзда сіяла въ свѣтло-пурпуровомъ воздухѣ; ея дрожащiе лучи упали на бѣлую стѣну, но они ничего тутъ не написали.

— Психея никогда не умретъ! Сознательная жизнь! Да что это такое! Да, да, непостижимое существо че-

ловѣкъ. Непостижимъ Ты, о Господи! Весь міръ непостижимъ!

Глаза его горѣли.

Горѣли и закрылись.

Послѣдній звукъ, раздавшійся надъ нимъ, мертвецомъ, былъ колокольный звонъ.

И его опустили въ землю, привезенную изъ Іерусалима и смѣшанную съ прахомъ благочестивыхъ людей, угодившихъ Богу.

Черезъ нѣсколько лѣтъ его скелетъ вынули, какъ это обыкновенно дѣлали и съ скелетами другихъ похороненныхъ монаховъ, и надѣли на него коричневую рясу, и дали ему въ руки четки, поставили его въ ряды прочихъ человѣческихъ скелетовъ, какіе потомъ отрывались въ разныхъ монастырскихъ склепахъ.

На дворѣ сіяло солнце, въ склепѣ курились кадила: служили обѣдню.

Протекло много лѣтъ.

Скелеты распались, рассыпались; черепа собрали и выставили рядомъ, — они украсили цѣлую наружную сторону церкви.

Тутъ стояла и голова молодого художника, подъ палящими лучами солнца.

Много было мертвецовъ, и никто теперь не зналъ ихъ именъ, точно такъ же, какъ и его имени.

Вотъ въ глазныхъ впадинахъ движется что-то живое.

Что такое могло бы это быть?

Пестрая ящерица бѣгаетъ въ пустомъ черепѣ и шмыгаетъ взадъ и впередъ сквозь глазныя впадины.

Теперь ящерица была жизнью въ головѣ, гдѣ когда-то рождались мысли, свѣтлыя мечты, любовь къ искусству, къ красотѣ, откуда катились горячія слезы, гдѣ лелѣялась надежда на безсмертіе.

Ящерица пошмыгала и исчезла, черепъ распался и сдѣлался прахомъ во прахъ.

Много съ той поры протекло столѣтій.

Золотая звѣзда горѣла и сіяла, какъ и за нѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ, и воздухъ свѣтился яркимъ заревомъ, свѣжимъ, какъ роза, и алымъ, какъ кровь.



Гдѣ когда-то была узенькая улица съ развалинами храма, стоялъ теперь женскій монастырь.

Въ монастырскомъ саду рыли могилу. Скончалась одна молоденькая монахиня, и въ это утро ее должны были хоронить.

Вдругъ лопата наткнулась на камень, и камень свернулъ яркой бѣлизной.

Оказалось, что это мраморъ.

Мраморъ этотъ началъ круглиться въ формѣ плеча, понемногу плечо показалось наружу.

Стали осторожнѣе двигать лопатю, и волаженская голова, показались крылья бабочки.

Изъ могилы, куда хотѣли опустить тѣло молодой монахини, вынули дивно-прекрасную Психею, изваянную изъ бѣлаго мрамора.

— Что за прелесть! Какое совершенство! — говорили всѣ. — Да, это великое произведеніе! Это творилъ великій художникъ! Кто этотъ неподражаемый мастеръ?

Никто не зналъ этого, никто, кромѣ яркой утренней звѣзды, что горѣла и сіяла цѣлыя тысячелѣтія.

Звѣзда та знала весь ходъ его земной жизни, его земныя испытанія, его слабости, — она знала, что онъ не болѣе, какъ человекъ.

Онъ умеръ, и прахъ его распался, какъ это и слѣдуетъ, но выраженіе его лучшихъ стремленій — это осталось.

Осталась Психея.

Яркая утренняя звѣзда въ розовомъ воздухѣ послала свой свѣтлый лучъ на Психею и на блаженно-улыбающіеся глаза и губы зрителей, которые созерцали душу, изваянную изъ мрамора.

Все земное уносится, разрушается, забывается — это знаетъ звѣзда въ безконечномъ пространствѣ. Все небесное живетъ и сіяетъ въ посмертной славѣ.

А когда и это слово исчезнетъ, Психея все еще будетъ жить.



IX-5504

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Дѣвочка Инге	5
На утиномъ дворѣ	18
Ледяница.	
I. Маленькій Руди	28
II. Путешествіе на новую родину	38
III. Дядя	45
IV. Бабета	51
V. На возвратномъ пути	67
VI. Въ гостяхъ на мельницѣ	70
VII. Орлиное гнѣздо	76
VIII. Что новенькаго рассказала комнатная кошка	82
IX. Ледяница	86
X. Крестная мать	89
XI. Двоюродный братецъ	94
XII. Злая сила	96
XIII. На мельницѣ	104
XIV. Ночныя грезы	108
XV. Конецъ	111
Прошло съ тѣхъ поръ много лѣтъ	118
Магометовъ садъ	120
Съ крѣпостного вала	142
Денежная свинья	144
Тернистый путь	149
Черезъ нѣсколько тысячъ лѣтъ	157
Старая могильная плита	161
Дѣтская болтовня	166
Колокольный сторожъ Оле	170
Первое посѣщеніе	173
Второе посѣщеніе	180
Третье посѣщеніе	183
Роза съ Гомеровою могилы	189
Колокольная бездна	192
Ночной комокъ стараго холостяка	197
„Кое-что“	217
Муза новаго вѣка	228
Анна-Лизбета	237
Старый колоколь	256
Психея	264